

Даур Зантария Золотое Колесо

роман

*Ancfa duw, Wuxjusjargvucsa sakvuxshowp!**

I

О Владычице Рек и Вод

Однажды в древности люди проснулись и увидели следы девичьих ног на свежем снегу. Следы спускались с гор к *Омуту*. Поняли люди, что это следы *Владычицы Рек и Вод*. И хотя следы вели с гор к Омуту, поняли люди, что Владычица Рек и Вод покинула Омут и ушла в горы.

Ибо, да будет вам известно: у Великой Владычицы Вод и Рек ступни были повернуты пятками наперед. Но, чтобы рассказать, как это случилось, надо начать все сначала.

Витязь Хатт из рода Хаттов возвращался домой из далеких странствий, куда он ходил добывать славу — Витязь Хатт, клявшийся именем Владычицы Вод и учивший народ, что *вода — душа, а душа — вода*. В сутках езды до дома его догнала стая воронов, закрывая крыльями небо. Витязь остановил коня и поднял голову: ему показалось, *колесо* земли под ногами пошло назад, вместе с ним и его конем, а вороны в небе застыли. Витязь остановил коня и долго стоял, поднявши голову к небу. Витязь стоял, поднявши голову, а конь его тревожно ржал. Каркающая стая в поднебесье заслонила Золотую Стопу Отца. Она отразила беду.

Витязь Хатт и конь его поняли, что не к добру явились вороны. Они заторопились в Абхазию.

«Кто же пришел?» — спросил он. А предки наши, как известно, полевых и домашних работ не любили, предпочитая войны и походы, и потому ответили ему, что пришли, дескать, некие, но они нам не во вред, они работающий люд, будут мотыжить наши поля и собирать наш виноград.

Но пришельцы, мотыжа лен, обсыпали корни землей, не пропалывая сорной травы, а когда не могли достать виноград на ломкой ветви, попросту срывали лозу.

Прошло время, и один из пришельцев явился к роднику набрать воды. И *некто*, немыйтый и патлатый, отразился на глади воды, пристально взглянул на него и сказал:

«Не смей, двойник мой, лить старую воду на мое лицо!»

Нечистый выплеснул старую воду в сторону. Потом он отмыл в роднике свои онучи и шапкой зачерпнул воды. Никто из наших этого не знал — не присматривали за ними.

А у предков наших закон был такой, что не брали воду, не испросив

* Господи, припадаю к Твоей Золотой Стопе! (абх.).

позволения у Владычицы Рек; и когда набирали свежую, то старую из кувшинов сливали в родник, чтобы вода прибавилась к воде, и воду, отданную Владычицей, семья могла употребить без вреда.

И как-то враз оказалось, что пришельцы осквернили все родники. Тогда ушла Владычица Рек и Вод. Началась засуха, высохли все реки, а берега пропитались ядом. Из всей речной живности выжили только лягушки.

Что же оставалось делать обессиленному народу? Люди покинули обжитые земли и двинулись вверх против девичьих следов. Теперь-то им стало ясно, что пришельцы не кто иные, как племя нечистых.

В горах оставались еще ледники. Люди растапливали лед и получали воду. Там, на нагорье, прожил наш народ изгнанником солнца семьдесят лет. Выросло новое поколение, не знавшее родины.

Как-то сто юных царевичей резвились у замка. Они играли в мяч, они терлись друг о друга, подобно бычкам, не зная, как израсходовать свою энергию. Вдруг один из царевичей приметил женщину. Женщина поднималась по тропе с кувшином на плече, и были у нее Стать и Поступь.

У юноши загорелись глаза, он взволновался и он воскликнул.

— О, братья! — воскликнул он. — Я сейчас разобью кувшин, не задев женщину стрелой!

Не знаю, нужно ли это для рассказа, но это — было.

Братья сказали ему: «Давай!»

Стрела полетела, кувшин разбился, незнакомка ахнула и обернулась. Юноши остановились, смущенные: обладательница стати и поступи была пожилой женщиной. Ее облило. Она несла к роднику старую воду, чтобы Владычица Рек и Вод позволила отломить кусок льда, и чтобы воду из родника ее семья могла употребить без вреда.

— Кто вы, болваны? — спросила она.

— Да царевичи мы, — ответили ей смущенно.

— Чем воевать с моим кувшином, шли бы воевать с нечистыми, захватившими вашу родину! — сказала она.

Пристыженные юноши вернулись в замок и замучили расспросами родительницу.

— Мать, мы видели женщину со статью и поступью.

— *Касатики*, это же вдова при живом муже!

— Мать, а где ее муж, коли он жив?

— Ее муж, Витязь Хатт из рода Хаттов, одиноко сражается с нечистыми, защищая нашу родину.

— Мать, что такое родина?

— Шли бы, касатики, поиграли бы в мяч, — сказала родительница, но царевичи были упрямы.

Наконец она призналась им, что родина — это то, что находится по ту сторону Буйной Реки, русло которой представляло из себя сейчас лишь гряду влажных валунов.

Вооружились юноши, сели на коней и ушли под плач родительницы. В сердце их обожженной и потрескавшейся земли Витязь Хатт из рода Хаттов одиноко сражался с нечистыми. Семьдесят лет он, не разжимая кулаков, держал два меча — так, что ногти его вонзились в ладони и проросли с тыльной стороны. Сто царевичей с дружинами пришли на подмогу витязю, племя нечистых было изгнано прочь из края, и между Анапой и Анагой, наконец, пролился долгожданный ливень. Он напоил истомленную землю, и снова зашумели реки, смывая соленый солнечный яд с берегов.

Витязь Хатт облюбывал нашу деревню и стал дожидаться народа, чтобы им управлять. Но вскоре, не дождавшись, Хатт ушел на горную охоту. Уходя он оставил знак о себе. На обратном пути он собирался прихватить и свою жену со статью и поступью.

В горах он нашел Владычицу Рек и Вод.

— *Вода — душа, душа — вода*, — сказал ей Хатт. — Приди на побережье, на прежнее свое место, и, пока жив мой род, ты не останешься без жертвоприношений.

И Владычица Рек и Вод из беспокойных горных потоков вернулась в мутную реку нашего села.

Обрадованный народ возвращался в свои гнездовья. Никто не оспорил знак отважного Хатта, и род его стал княжить в нашем селе, и оно стало называться *Хаттрипш*.

В десяти полетах стрелы от морского берега река расширялась и образывала омут. В Омуте и жила Владычица Рек. Именно в Хаттрипше было ее любимое местопребывание — об этом знала вся страна. Раз в году, перед весенним праздником, грозной Владычице приносили в жертву юношу. Этого избранного юношу называли Долей Воды. Он знал об этом загодя и ходил из села в село, счастливым своим жребием. Во всех домах он встречал гостеприимство, лучшие девушки раскрывали ему свои первые объятия, и это не могло им помешать впоследствии выйти замуж.

Витязь Хатт, а потом по наследству род его, — следили за порядком жертвоприношений, как и было обещано. Когда же выпал жребий сыну самого Хатта и народ хотел было сделать исключение — миновать княжича, Хатт возразил: «Раз его выбрала судьба, не лишим его участи быть Долей Воды!» И сын Хатта счастливо потупил глаза. То был славный род охотников и воинов. Не успевал народ забыть подвиг предка, как потомок совершал еще более славный поступок.

А по Омуту расходились таинственные круги. Здесь было мглисто даже в полдень: бледно-зеленые ивы, корявая лозина и дикий фундук густо росли по обоим берегам реки, и все это, опутанное хмелем, лианами и сассапарелью, сплеталось над Омутком сводом, непроницаемым для солнечных лучей. На берегах также рос буйный папоротник. Он и сейчас там растет — не похожий на обычный, влажный и словно еще более древний.

Там и жила русалка, ее даже можно было видеть. Еще при мне рассказывали о ней очевидцы. И я им верю. Во-первых, эти люди совершенно бескорыстны, и нет основания им не доверять. С другой стороны, сказал же Витязь Хатт из рода Хаттов: «*Не может чего-то не быть в бесконечном мире! Все есть*, — учил он народ, присовокупляя: *Все, чего не было — будет, а все, что было, — повторится*».

Все есть. Но пора уже вспомнить о нашем славном шумливом царе. Без его истории история русалки будет неполной.

Как только сто царевичей уничтожили друг друга в борьбе за престол, на погибель древним богам принял царство архонт Леон, племянник хазарского кагана и, таким образом, двоюродный брат по матери самого кесаря Льва Хазара. Он стал воскрешать когда-то зажегшуюся было в Абхазии, но вскоре погасшую идею Единого Бога. Из-за моря хлынули большеглазые скопцы. Сам Леон толковал народу Святую Веру, нередко пользуясь мечом как указкой. Он разрушил все языческие капища и построил храмы на их местах.

И стали прекращаться человеческие жертвы Владычице Вод. Первое время люди еще продолжали приходить в праздник весны к берегу реки, но несли уже чучело вместо юноши. Приходили ночью, а не радостным днем. Приходили виноватые: дескать, что тут поделаешь, гневается юный царь. А ведь он расширил наше царство далеко за прежние пределы.

В водах появились первые лягушки.

Так началось постепенное превращение грозной Владычицы в простую русалку-адзылан.

В довершение всего неумолимый царь Леон построил в нашем селе огромную — в масштабах своего царства — судоверфь и провел судоходный

канал между реками деревни. На зеркальной глади канала отразилось его гордое лицо. *Единения и Независимости* от Византии — вот чего жаждала его душа.

— Благословишь ли ты канал, о Владычица? — спросил потомок Витязя Хатта, местный князь.

— Пусть в нем заквакают лягушки! — ответствовала она. Владычица не говорила на человеческом языке и с людьми изъяснялась знаками.

И вот, много позже, когда царства не стало и каналом перестали пользоваться, он превратился в длинное прямое болото. Народ потребовал от князя Акун-Ипа, потомка Витязя Хатта, засыпать канал. Но сам народ при этом работать не желал, предпочитая войны и походы. А мудрый князь медлил. Он знал ту истину, что *под видом осушителей болот приходят нечистые*. Он был страстный охотник, Акун-Ипа, на каждом перевале стояла его охотничья *тамга*. Особые знаки о том, что он здесь прошел, Акун-Ипа Хатт устанавливал для орлов; людям же эти места были недоступны. Владычица Вод и Рек делала его стрелы меткими.

Князь медлил, а нетерпеливые люди проклинали его в потомстве. Прокляли тайком, продолжая признавать его род княжеским. А болото засыпали только в наше время. По словам старого Батала, еще незадолго до революции священник Иоанн частенько часами простаивал на берегу болота и записывал в тетрадь голоса лягушек.

Итак, Владычица Вод неотвратимо превращалась в простую русалку. Собственно, отсюда и начинается мой нехитрый рассказ.

О бренности телесного

На уютной живописной лужайке, которая открывалась взору прохожего за густой цитрусовой изгородью, увенчанной посередине деревянными воротами с крышей, в тени раскидистой шелковицы сидели два старика. Это были старейшины, чей мудрый совет был необходим в деревне всем. Без слова этих умудренных жизненным опытом старцев никакого важного решения не принималось не только правлением деревни, но и руководством филиала Обезьянней Академии.

Ученый русский гость и юноша-абхаз внимательно слушали стариков.

С почтительностью, которой молодежи следовало бы поучиться у старших, один из стариков, Платон, дождался, пока другой, Батал, сам спросит его о русском госте, ибо старше был второй по крайней мере на полвека, хоть и не имеет возраста мудрость.

— Егей, *дад!* — сказал Батал, опершись на посох.

«*Дад*» означает и «*Отец*», и «*Громовержец*»; вставлять это слово в речь положено не всем, а только почтенным старикам.

Некоторое время старики хранили молчание, которое молодые не смели прерывать.

— Твоей бы мудрости нам всем, вообще, *дад*, Батал! — согласился Платон с молчанием старшего.

Теперь он мог представить гостя.

Но чтобы рассказать все сначала, надо и начать сначала. Надо начать с Крачковски, а Лодкин подождет, он младший.

Произошло это одновременно: почта принесла письмо от *мосье Крачковски* и приехал *Лодкин*.

Письмо в Абхазию *мосье Крачковски* (с ударением на последнем слоге, как во всех французских фамилиях) отправил из Турции. Григорий Лагустанович, государственный деятель и милостью Божьей поэт, которого вы еще

полюбите, получил это письмо. Прежде он никогда не слышал о спортсмене. Крачковски писал, что желает проехать на велосипеде по территории назревающего грузино-абхазского конфликта. Разрешение проехать по Абхазии им было уже получено из Тбилиси, и спортсмен просил, ввиду сложных взаимоотношений Тбилиси с Сухумом, выделить ему на месте человека, который был бы у него импрессарио в этом регионе.

Григорий Лагустанович повертел письмо в руках и отдал его, ну его на кар, грузинскому заместителю. Грузинский заместитель побежал неофициально советоваться с неформалами. Григорий Лагустанович для того ему и отдавал письмо. Решили тянуть с ответом. *Будем волюнить*, сказал Лагустанович.

А Крачковски ждал в стамбульском отеле. Независимая миротворческая организация «WORD & DEED» оплачивала его поездки. Когда он отправлял письмо в Абхазию, французскому спортсмену было без малого 84 года. Несмотря на почтенный возраст, он отлично сохранил форму. Неутомимый романтик исколесил на своем велосипеде почти полмира. На местах, чреватых конфликтами, Крачковски устраивал пробеги мира. Этому делу он посвятил жизнь.

К первой мировой войне Крачковски отношения не имел. Тогда ему было от роду девять лет. Вторая мировая настигла его, когда он на своем велосипеде пересекал линию немецко-польского противостояния; пуля, выпущенная с польских позиций и послужившая поводом наступления немцев, пролетела над его головой.

Свыше шестидесяти регионов земного шара посетил энтузиаст. Все они стали горячими точками. В последние годы география его путешествий, увы, стала ограничиваться территорией СССР. Он одолел подъем из Степанакерта до Шуши, проехал Рокский тоннель и спустился в Цхинвали, был в Оше, Новом Узене, в Ферганской долине. Хотя он появлялся загодя, и даже тогда, когда о будущем кровопролитии еще не подозревали, предотвратить кровопролитие не удавалось нигде. Но старик не обнаруживал ни уныния, ни усталости.

Мосье Крачковски только что проехал по мятежному турецкому Курдистану. Уже в Стамбуле, дожидаясь письма из Абхазии, он с огорчением узнал, что против курдских городов и сел турецкие власти впервые применили авиацию.

Итак, Крачковски направил руль своего велосипеда в сторону Абхазии. Война так война, решили все. Стало ясно, что здесь уже так сильно пахнет жареным, что и до Парижа дошло.

В сознании людей постепенно укреплялась опасная мысль о неотвратимости войны. Это-то часто и делает войну неотвратимой. В краю, где наскоро сколачивают хижины с мыслью, что все равно сожгут, никогда не кончатся поджоги.

Прощайте, мосье Крачковски. Мы надолго забудем вас. Ибо...

Мы уже упоминали о батюшке Иоанне, как он заносил в тетрадь фольклорные истории, стоя на берегу Омута, а крестьяне простодушно полагали, что тот записывает голоса лягушек... Так вот священник Иоанн был замечательный батюшка, но в истории остался благодаря тому, что во время воскресной службы застрелил крысу. На вооруженных попов Абхазии всегда везло, но Иоанн произвел выстрел внутри собственной церкви. До этого его довела *эртоба**. А начинал отец Иоанн с того, что входил в комиссию по переводу Священных текстов на абхазский язык и был первым корреспондентом академика Марра.

* Единение, единство (груз.).

Свою службу в маленькой деревянной церквушке нашего села Иоанн не без основания воспринимал как опалу, но к прихожанам успел привязаться. Он только не любил отвечать на вопросы, называя это диспутами в храме.

А люди нашего села, будучи совершенно неграмотными, все же отличались любознательностью. В ту пору они успели признать идею грамотности, но не образования. Умеющего писать уважали, потому что он мог за мешок кукурузы составить любое прошение, но их забавляло, если того же человека застигали за чтением. Сложным было отношение сельчан и к двухклассному училищу, которое открыл Иоанн. Свои предрассудки они выводили не из собственного невежества, а из особенного, как им казалось, остроумного взгляда на жизнь. Подобно тому, как позже народы СССР громко спорили, кто культурнее и древнее, так и прихожане Иоанна всем миром полагали, что они по развитию и самости не чета ни соседям за Омутом, ни соседям за ольшаником, словно с этими соседями их разделяли не условные границы, созданные князьями для удобства, а горный хребет, или море, что обусловило их разное историческое развитие.

Но замечательно, что селом-то деревня стала недавно, когда стараниями батюшки была выстроена небольшая деревянная церковь. И в этом селе, где еще приходилось предотвращать расправы над ведьмами, столько же людей мнило себя философами, сколько как раз могла вместить небольшая церквушка.

— Почему Бог не сокрушил похитителя Илорской иконы? — спрашивали прихожане.

— А почему вы знаете, что Он его не сокрушил, разве вам известен похититель? — возмущался батюшка.

— Нет, похитителя мы не знаем, но и не слыхали, чтобы кто-нибудь в последнее время был обуглен небесным огнем, — язвили прихожане.

— Сто раз говорил я вам, что Царствие Небесное не от мира сего! Сто раз же я вам говорил, — горячился Иоанн.

Батюшка Иоанн скромно жил с попадьей в заднике классов при церкви.

Часто его видели на берегу болота что-то записывающим в тетрадь. Это прямое длинное болото образовалось на месте канала, прорытого некогда царем Леоном для судоверфи. Поп наш записывает в тетрадь голоса лягушек, злословили сельчане, недовольные тем, что он занимал их детей в классе в самую страду. Чему он их научит, надо ли нашим детям записывать лягушачье кваканье! Нет, возражали мудрые, будут у нас грамотные — будут у нас собственные старшины и писари, а свой меньше обманет.

Иоанна в общем-то любили. Служил он небрежно, службу, бывало, пропустит, но проповеди произносил строгие и горячие. Святое Писание и Жития соседствовали на его книжной полке с сочинениями петербургского ученого Николая Яковлевича Марра, среди которых одно — *«Об отношении абхазского языка к яфетическим»* — было с дарственным факсимиле автора.

Об академике Марре разрешите мне рассказать подробнее. В судьбе Абхазии нынешнего века великий ученый занимал такое место, что его нельзя не упомянуть, рассказывая современный абхазский эпос на русском языке. Он даже создал для абхазов аналитический алфавит и мечтал о том, что этот универсальный алфавит примется в Абхазии, а потом в целом мире. В абхазском языке 84 фонемы! В абхазском языке наличествуют почти все звуки, которые есть в остальных языках мира, и еще, помимо этого, — звуки, которые есть только в этом языке. Ближайший по семье языков — адыгский — в фонетическом разнообразии уступает ему, так же, как сам абхазский уступал убыхскому: в этом языке было 92 фонемы!

Чтобы освоить абхазский язык, Николаю Яковлевичу Марру понадобил-

лось двенадцать часов: именно столько ученый ехал в поезде «Тифлис — Сухум», случившись в компании приятеля, батюшки Иоанна. В Зугдиди, мингрельской столице, ученый попрощался с попутчиком и вышел из поезда, а батюшка поехал дальше в Абхазию. Тут ученый нашел маклеров, которым поручил подготовить для него лошадей и проводников, чтобы проехать в нагорную Сванетию. От маклеров в течение нескольких часов он освоил мингрельский язык. (Впрочем, мингрельский язык считается легким для обучения. Именно вследствие легкой усвояемости своего языка мингрелы, несмотря на отсутствие письменности, слывут активными ассимиляторами.) Сваны, сопровождавшие Марра по горной дороге в течение шести часов, как и положено сыновьям гор, мрачно молчали, но с встретившим его в Сванетии князем Дадешкилиани ученый смог беседовать на сванском.

Таким образом за неполные сутки к арсеналу языков и наречий, которые он знал, ученый добавил еще три. Всего он работал на 50 мертвых и живых языках мира!

А потом уже ученого невозможно было остановить. Он стал сокрушать все устоявшиеся представления в лингвистике. Как разъяренный лев, ворвался Николай Яковлевич Марр в классификацию мировых языков, гоня перед собой абхазский язык. Теперь он пытался доискаться до праязыка. До нескольких самых первых выражений человеческой речи. Абхазский язык и называл Марр источником этого праязыка. Подробности были бы интересны, но я их не знаю.

Мандельштам, посещавший Абхазию в тридцатые годы, пишет, что в будущем видит мир *испещренным институтами абхазоведения*. Очевидно лингвистические восторги Марра витали в сухумском воздухе.

То, что ему удавалось записать у болота, Иоанн отправлял в Петербург своему другу-полиглоту. Тетради были заполнены фольклором. В те времена знатоков древности было так много, что людям, у которых Иоанн начинал расспрашивать о старых небылицах, было невдомек, кому они могли понадобиться, тем более во времена *эртобы*.

Однажды из уезда к Иоанну под покровом ночи заявился знакомец. Батюшка, хоть и бедно жил, но не оплошал: накрыл для гостя стол и выставил вино.

Справедливо ли, что Савлаку Хатту на праздники носят каплунов, начал гость после нескольких стаканов вина.

А Хатт Савлак, сам не богатый, а дал деньги и на строительство церкви, и на строительство класса. Путешественник и охотник, он свел свои княжеские привилегии к добровольному приношению в праздники по каплу-ну и по кувшину вина с одного крестьянского хозяйства. Но Иоанн не стал вдаваться в эти подробности. Отдайте кесарю кесарево, а Богу Богово...

Почему одному Савлаку принадлежит столько земель? Бога ради, оставь эти разговоры, если ты не пришел уморить меня вопросами! Я пригласил тебя за стол, поешь да попей чего Бог послал и помни, что я простой священник, а не благочинный, начинал сердиться Иоанн. Но, видя, что гость не праздно завел этот разговор, а к чему-то клонит, велел попадье удалиться. Потом долго говорили с гостем. К полуночи, когда Иоанн вышел провожать гостя, он сказал ему негромко:

— Не сердись, но мне кажется, что у вас ничего не получится: *только зря погубите молодежь*.

— Прости за дерзость, *Астамур*, но не боишься ли ты за себя? — задел за живое батюшку гость.

— Везите, я согласен. Но ничего у вас не получится.

Трудно себе представить, что оружие больше негде было прятать, как у

попа. Но красноперые таким образом батюшку, как сказали бы нынче, *завербовали*.

Еще более дивились прихожане на своего попа. По-прежнему он писал в тетрадь голоса лягушек, но теперь то и дело выхватывал из-под рясы «Смит-энд-Вессон» и давал затрещину по болоту, так что вскоре он убивал лягушку на звук — перестало, видать, нравиться батюшке записывать в тетрадь их кваканье.

На одной из воскресных служб случилось событие. Жирная крыса пробежала по периметру церкви и скрылась в приделе. Все заметили ее. Иоанну пришлось сделать замечание молящимся, чтобы не шумели.

Крыса появилась во второй раз. Были смеющиеся во храме. Грешные, вы о крысе ли должны сейчас думать, рассердился Иоанн. Зверь появился в третий раз. Теперь уже хохотали все.

Выхватив из-под рясы «Смит-энд-Вессон», батюшка Иоанн выстрелил и перебил крысе хребет.

И был батюшка Иоанн лишен сана. Бывшие сподвижники его по переводам Священных книг ничем не могли ему помочь; случай был из ряда вон выходящий. Иоанн тем временем несколько не расстроился, потому что на дворе были времена революционные.

— А я не родился Иоанном, я — князь Астамур Эмхвари! — сказал батюшка-расстрига.

И облачился в отцовскую белую черкеску, которая ему очень шла.

Вскоре, произнеся клятву под горой-Святилищем, Астамур Эмхвари вступил в народное ополчение «*Кяраз*»^{*}.

Меньшевики, лидировавшие в эртобе, схватили Астамура и бросили в сухумскую крепость. В случае невыплаты выкупа в кассу эртобы ему грозил расстрел.

Родственники Астамура пришли в Сухум. Трое суток стояли мать и сестры под крепостью, где сейчас ресторан «Диоскурия», в надежде получить весточку от Иоанна-Астамура. Они продали все имущество, весь скот, но эртоба ценила Астамура дороже. Вот что они прочитали в записке, которую он изловчился выбросить в решетку, завернув в нее перстень-печатку:

«ДЕЛО ЕДИНЕНИЯ В АБХАЗИИ ЦВЕТЕТ КАК МАЙСКАЯ РОЗА»

Майская роза, а имелся в виду сорт яблок, вскоре дала плоды. Место полков эртобы заняла 11-я Красная Армия. Астамур был спасен.

При советской власти Астамур Эмхвари как человек образованный был даже фигурой в наркомате народного просвещения, но в главном правительстве не был.

Потому что не любил, когда задавали много вопросов.

О любознательности

А теперь вспомним Лодкина, который приехал вслед за письмом мосье Крачковски.

Итак, Лодкина обнаружил Кесоу, ранним утром в Успенье Богородицы идя мимо кладбища. В ожидании, когда деревня проснется и оживет, Лодкин рассматривал надписи на кладбищенских плитах.

Это был довольно известный человек, раз увидев которого, подумаешь: он, если даже устанет, постарается не демонстрировать усталости. Он не скажет всуе; он предпочтет вдохновение и неунываемость. Все в облике

^{*} Единство, единение (абх.).

незнакомца выдавало человека, которому недосуг просто так глазеть на камни убогого кладбища.

Однако Кесоу, редко смотревший телевизор, принял его за бича, *помогающего* за выпивку и харчи. Работы же у крестьянина всегда непочатый край.

— Иди сюда, братуха, — позвал он.

Незнакомец тряхнул гривой и обернулся на зов. Несмотря на ранний час, Лодкин направился к звавшему его юноше. Он шел характерной упругой походкой, каждым шагом подтверждая, что ничего больше откладывать нельзя.

Кесоу звал его с лицемерной любезностью, с какой Платон, его дядя, обычно, цокая языком и предлагая кукурузный початок, подзывал жеребца, которого собирался заарканить. Кесоу задумал повести *патлатого* к Платону, чтобы с утра преподнести дяде праздничный подарок.

Неутомимый романтик спокойно направился к парню. Профессия приучила его к самым неожиданным ситуациям и умению находить общий язык с самыми различными людьми.

— С праздником Успенья Богородицы! — произнес он, подходя к Кесоу и приветливо протягивая ему руку. Это не могло не обезоружить незнакомо-го парня, не могло не настроить на более мирный лад. И Лодкин не ошибся.

— Спасибо, братуха, — миролюбиво ответил абхаз.

Гость представился. Он пояснил, что приехал в общем-то к ребятам из филиала Обезьянней академии, но основная его цель — познакомиться и пообщаться с местными людьми, выяснить настроения, как он делал это намерен за Ингуром у мингрелов.

— Ты — разведчик? — спросил Кесоу, и трудно было угадать по его тону, равнодушно он спросил или с деланным равнодушием.

Тут гостю бы расхохотаться и этим обстановку сразу разрядить. Но Лодкин обо всем, что касалось главного дела его жизни, не мог говорить без пафоса.

Разговаривая, Лодкин часто проводил пальцами по волосам, тронутым сединой. Эти его знаменитые волосы, стянутые, как всегда, простой бечевой, ниспадали на плечи. Человеку, равнодушному ко всему, что не касается его собственного благополучия, могло показаться, что роста Лодкин был чуть выше среднего, тогда как на самом деле вся его импульсивная фигура свидетельствовала о темпераменте и альтруизме — чертах характера, подвигавших его не то чтобы носить по белу свету оливковую ветвь, а самому быть раскидистым древом известной, но недостаточно оцененной (миро)творческой организации «WORD & DEED». Однако не организация эта виновна в том, что до сих пор ее знали мало. Народы и государства в последние десятилетия только сладко улыбались друг другу, откладывая груз проблем на плечи нашего поколения.

— Я ненавижу совков не меньше вашего! — начал гость.

Лодкин никогда ничьим разведчиком не был. Он представлял «WORD & DEED», и только «WORD & DEED», которая разработала новые методы мирных инициатив, идущих снизу и...

— Ты из ЦРУ, — мягко перебил его Кесоу.

Этот недоверчивый юноша сам был роста выше среднего и замечательно смуглолиц. В отличие от Лодкина, источавшего миролюбие и снисходительность, — и комплекцией, и осанкой парень как бы вызывал собеседника по-дружески померяться силой. Здоровый цвет лица, характерный для людей, проводящих каждое лето на горных пастбищах в обществе чабанов и овец, гармонично сочетался на его лице с выражением ума и памяти, столь необходимых, чтобы запомнить все прозвища барашков, все легенды и были чабанов и все названия созвездий — материя необходимая, если вздумается пойти с *арканом* за семь рек. Огонь в его глазах — свидетельство горячего

сердца — до сей поры расточался на мелочи быта, однако Лодкин знал по опыту, что именно такие энергичные, но мирные и наивные парни, если их усилия пустить в правильное русло, могут принести пользу хотя бы на уровне своего кишлака, точнее аула — это же Кавказ!

А на предположение о причастности к ЦРУ Лодкин улыбнулся и покачал головой.

Шпиономания советских людей была ему известна.

Кесоу спокойно решил, что можно вести патлатого к дяде. Разведчик он американский или нет — это дела не меняет. С виду он вполне сойдет за бича. Платон отведет его подальше от глаз жены. Уже дорога будет стоить нервов агенту ЦРУ. В укромном месте Платон спросит: «Ты — бардыга, вообще?». Тот со страху зажмурится. А не зажмурится — тем хуже для него. «Ты бар-р-рдыга, да-а?!» — еще раз спросит дядя, занеся над бичом кулак величиной с кувалду. Агент 007 зажмурится. Так начнется праздничный день для дяди, с укрощения сильного, работоспособного бича.

— Сходим к моему дяде. Он очень колоритный старик, прошел Рим и Крым, — предложил Кесоу. — Много чего может рассказать.

У выхода из кладбища Лодкин сорвал цветок жасмина, что дало повод Кесоу предположить, что он не обычный бич, а чудака, хиппи. Но тут Лодкин принялся к цветку с таким удовольствием, что Кесоу решил: обычный бич. И снова оказался неправ.

А еще у дяди хороший бич уже был в доме, и он подошел к делу с неожиданной стороны. Недаром дядя Платон в этом году решительно вознамерился войти в тройку старейшин деревни. Он сумрачно выговорил племяннику:

— Никогда не делай поспешных выводов по внешнему виду! Этот парень отрастил себе космы, потому что он — грамотей. А все грамотеи со странностями.

— А если он из американской разведки, дядя?

— Перестань! Сдались мы американской разведке.

Умный гость все понял. Он похлопал по плечу Кесоу, такого славного и такого подозрительного.

Кесоу пришлось согласиться. Возведя патлатого в ранг гостя, Платон может тут же распорядиться, чтобы несли чачу, таким образом он и сам опохмелится сразу, не дожидаясь, пока жена-копуша позовет на праздничный завтрак. Если он — бич, то добро пожаловать! Если же не бич, если парень — так и есть приехал с какими-то грамотными намерениями, — Платон окажется первым стариком, который успел с ним побеседовать. Только потом он вручит его старикам со стажем. Здорово он это придумал, восхитился племянник.

— Столик выноси! Не видишь: гость у нас! — крикнул Платон жене, усаживаясь с гостями на крыльце.

— Так хочется сковородой шарахнуть по патлатой голове вашего гостя! — отозвалась жена. Но ей деваться некуда: обычаи велют ей принять гостя, патлатый он или бритоголовый. Так оно и есть: жена вскоре вынесла и чачу, как миленькая, и закуски. И, конечно же, *аджику*.

Об аджике нужно сказать особо. Свыше двухсот специй являются ее составными. Тут и острый перец, и поваренная соль, и резеда, и девясил, и куриная слепота, и армянский хмели-сунели, и грузинские тмин и гвоздика, и еще 193 специи, выращиваемые в Абхазии и только в Абхазии. Это острая приправа, придуманная моими соотечественниками и постепенно прививающаяся в мире. Все южные народы, от латинос до китаезов, любят острое. Но аджика — и мне кажется, что я не преувеличиваю — может смело конкурировать со всеми этими приправами; в ней есть все, что во всех других острых приправах мира, и много иного, которое есть только в нем, подобно тому,

как в абхазской речи есть все звуки, что и в остальных 3700 языках мира, но и помимо этого еще полсотни специфических звуков, которые кроме абхаза никто и произнести не может. Итак, аджика. Изготовить ее, в сущности, не составляет труда: для женщины не проблема запомнить сочетание двухсот специй, а приобрести их можно на всех рынках Абхазии. Однако положение усложняется прочно укоренившимся предрассудком о том якобы, что изготовить аджику с особым вкусом и ароматом может только женщина, которая не знала никогда другого мужчины, кроме мужа. Горцы, слывущие знатоками мяса и аджики, тут же замечают, если аджика подозрительна. Вообще, горцы, не имеющие обыкновения нахваливать гостю предлагаемые ему блюда, делают исключение только для аджики.

Обо всем этом поведал Кесоу гостю в качестве перевода короткой реплики дяди Платона. А дядя Платон только и сказал, что он-де жену не хвалит, но аджику-то делать она умеет. Слова хозяйки о сковороде он тоже перевел гостю по-своему:

— Хозяйка корит нас, что мы усадили гостя на крыльце, а не ввели в дом.

— Нет! Нет! Посидим здесь! Здесь так славно! — воскликнул Лодкин.

Платон проводил жену взглядом. Когда она вошла на кухню, он произнес:

— Женщину покойный мой отец называл человеком один раз в году. Да и то ненароком. У нас в Абхазии редко выпадает снег. Светлой памяти отец выйдет, бывало, на крыльцо, увидит свежий снег, а по снегу — человеческие следы. «Уже человек прошел по снегу», — говаривал он. И если это были следы женщины, вот и оказывалось, что отец мой, царствие ему небесное, назвал ее человеком.

Замечательный рассказ. Посмеялись. Народный юмор, несколько грубоватый, но живой. Сидят они на крыльце. Платон сыплет изречения одно за другим. Гость их записывает в блокнот. Кесоу рядом, помогает дяде этими самыми изречениями. Платон ведь — начинающий мудрец: в изречениях у него возможны сбои. Замечательный аксакал, восхищается гость. Аксакалы в Средней Азии, поправляет Кесоу. Вы вполне соответствуете своему имени, говорит гость. Платон не понимает. Кесоу поясняет. Сколько раз я тебе говорил, дядя, что у греков, не наших, а тех, древних, был мудрец, твой тезка. Какой же я мудрец, вообще, скромничает Платон. Но он польщен. Я просто хорошо запомнил слова покойного отца, врет он, по-старчески опираясь на посох.

В кругу деревенских стариков он такого бы не сказал. Его отец был хороший человек, труженик, но мудрецом никогда не был и не пытался им быть. Он пахал всю жизнь, опустив голову долу. Много мудрости не вычитаешь у борозды. Мудрость обретается теми, кто ездит и общается с людьми — роскошь, которую пахарь себе позволить не может. Сам Платон в жизни был и тружеником, и путешественником одновременно! Он ходил и общался с людьми в силу своего пристрастия к конокрадству, но, чтобы это скрывать от общества, он и вкалывал днем не менее отца.

— Покойный отец так рассказывал мне, — сказал дядя Платон, для уверенности покосившись на племянника, словно тот был более верный слушатель и свидетель речей деда, и кивком получив одобрение. — Когда-то люди видели Бога, как мы сейчас видим солнце. А когда перестали видеть, то спросили у великого Хатта: «Скажи нам, Учитель Людей, почему мы продолжаем видеть Солнце, но больше не видим Бога?» И услышали в ответ, вообще: «Мы видим Золотой круг Солнца, которое светит хозяевам земным: всем тварям, которые были здесь задолго до нашего изгнания на землю и останутся, когда мы сможем вернуться к Отцу. Пот лица застил нам глаза, и мы не видим Его. Но мы видим Золотую Стопу Отца, который нас любит. И если в нашей жизни, что не более, чем перевал, мы не отвратим глаза от Золотой Стопы Отца, то однажды каждый из нас увидит сияние вокруг Его лица».

Много замечательного рассказал простой неграмотный крестьянин урусу в это утро. Говорил он, быть может, наивно, коряво, но в словах его была простая мудрость, которая от сохи, вообще. Даже предрассудки старика были незлы. Ко всему прочему, он поведал ненавязчиво, объективно и по-народному всю историю грузино-абхазской тяжбы. Гость был в восторге.

— Если мингрел увидит привязанную на лугу кобылу, говаривал покойный мой отец, он может прижениться на ней, в надежде, что ему достанется тот отрезок земли, на котором кобыла пасется. Кобыльи примачи, как называли их наши отцы.

Кесоу перевел. Гость хмыкнул и взял сулугуна, который лежал на столке в ряду закусок. Мингрелы ему про абхазов еще не такое рассказали. Съел сыр и похвалил. Старик был польщен. По просьбе гостя он подробно рассказал, как изготавливается сулугун. Он сам его изготавливает, вообще, женщинам не доверяет. Изготовление сулугуна включает в себя попеременно от четырех до семнадцати стадий. Дядя Платон выполняет все семнадцать операций, причем последнюю, где сыр надо настоять на соке желудка жертвенного животного — с особой тщательностью.

Сыр, настоящий на соке желудка, который пользован в третьем поколении, наши отцы называли княжеским. Вы сейчас едите княжеский, вообще...

— В третьем поколении желудков?

— Людей, — спокойно поправил старик. — Одно поколение — четверть века.

— Одно поколение — сто восемьдесят лет, — соврал при переводе Кесоу, зная, что кавказское долгожительство — тема.

Лодкин посчитал в уме: три поколения — 540 лет! Гм... Дела...

Чтобы сделать хозяину приятное и подтвердить, что в достоверности его слов не сомневается, он стал кусок за куском уплетать овечий сыр.

Гость целую тетрадь, поди, исписал. К вечеру Платон вручит уруса другим старикам, уже налитого необходимыми сведениями, как плоды к Успенью наливаются соком.

«Он о тебе напишет, дядя». — «Не надо, чтобы обо мне писали. Я хочу, чтобы он понял Истину и рассказал, что ему доступно рассказать. Если его кто-то прочтет и поймет — то и польза».

Поди не переведи такие слова! Тут и приукрашивать не надо было: Кесоу их перевел буквально. А перед тем, как их позвали к завтраку, жена Платона сказала такое, за что ей всю ее ворчливость можно простить! Она сказала то, что согрело его сердце не меньше, чем ее «да» в тот заветный день, когда он, придерживая скакуна за уздцы, пытал ее у родника: «Ты пойдешь за меня или нет, вообще!» И она, тогда еще красавица и чужая дочь, ответила ему: «Пойду, пойду, не ворчи!»

— Довольно утомлять старого человека! — сказала она, обращаясь к Кесоу. — Или в один день желаете выведать у человека то, что он узнал за всю долгую жизнь! Что-то в этом роде сказала, а возможно, даже лучше.

О слове изреченном

Все прошло бы замечательно, если бы не сулугун.

— Сыра неси, женщина! — приказал Платон, когда увидел, что гость съел все, что было на тарелке.

— Так хочется вот этой тарелкой да по его патлатой голове! — сказала по-абхазски жена, женщина ведь. — Лопает без хлеба! Грех!

— Не беспокойтесь, мать! Мне, напротив, очень нравится на крыльце, — по-русски успокоил женщину Лодкин.

— Иди, накрывай на большой стол! Урусский парень — грамотный, — сумрачно проговорил Платон.

Но он и сам стал обращать внимание на то, как патлатый ест сыр. А тот опустошал уже следующую тарелку с сулгуном. Он ел его просто так, сам-самской, не закусывая стоявшим рядом чуреком. Платон насупился. Если бы не жена, он бы не обратил внимания. Она имела-таки на него влияние. И еще польстила только что.

Лодкин, ни о чем не подозревая, ел и внимательно слушал. Но что тут слушать, если старик насупился и замолчал.

Обычно требовали от детей, чтобы они не поедали один сыр, а закусывали мучным: хлебом, чуреком или мамалыгой. Взрослым об этом и говорить не надо было. Это обыкновение есть сыр без ничего Платон считал не обычным способом экономии, но адатом, освященным веками. Вслед за женой он усмотрел в поведении гостя глумление над сыром. Вообще-то он был прав. Тонкий человек не станет есть сыр кусками и без хлеба, особенно с чужого стола. А человек, пытающийся примирить враждующие народы, должен быть тонким.

Вывалось наружу у Платона неосознанное до этого момента раздражение внешним видом гостя. Он забыл мудрость о странности грамотеев, высказанную наемни племяннику. Он замахнулся посохом на гостя! И — самое главное! — воскликнул:

— *Дзондз!**

Конечно, гость был перепуган. Конечно, Кесоу вмешался, и конфликт был легко улажен. Конечно, за большим столом, когда позвали к праздничному завтраку, Платон смущенно насупился, чем неловкость усугублял. Но, когда встали из-за стола, добрый старик обнял гостя и похлопал по плечу. Оба растрогались, все расхохотались. История была бы полностью исчерпана, если бы Платон не произнес слова «дзондз». А он не только произнес, но и при Батале повторил, когда после завтрака привел к старику гостя-уруса.

Дочери Батала тоже, конечно, не пришлось по вкусу внешний вид гостя. Она предупредила:

— Как бы старик не дал ему посохом по патлам!

Лодкин поклонился ей и предпочел тень дерева на лужайке перед домом.

— Егей, жизнь! — вздохнул Батал, приглашая в молчаливой беседе присоединиться к его раздумьям. Приглашал он, разумеется, Платона. К молчаливому диалогу, при котором по одному слову или междометию, произнесенному раз в полчаса, собеседники удостоверяются, что думают об одном и том же, как если бы говорили вслух. В общем, понятно, да? Так можно наблюдать глубокое движение лосося вверх по реке по редкому мельканию на поверхности красного гребня его хребта. Молодежь, в молчаливой беседе по неумению не участвовавшая, почтительно созерцала.

— Да, жизнь, — пробормотал Платон по прошествии необходимого количества времени, и получилось у него так, словно он все время следил за мыслью Батала, а сейчас только подтвердил.

Батал поднял сине, выцветшие от старости глаза, улыбнулся, но смолчал.

Ибо, если говорить честно, а Платон был человек честный, он не смог принять участия в молчаливой беседе, предложенной ему старшим собратом. Не получалось у него молчаливого разговора. Он знал, что такой разговор возможен, он желал его страстно, вообще, — но пока не получалось. Как нарочно в голову лезли, отвлекали посторонние мысли. И Платон досадовал, подобно Бодхидхарме, который вырвал себе веко, когда его начал одолевать сон во время медитации.

Старик отвлекся от давешних мыслей, к которым приглашал Платона, и,

* Патлатый (минг.).

мысленно махнув рукой, приготовился слушать. На внешний вид гостя он внимания не обратил; дочь его зря беспокоилась. Было ясно, что патлатый, которого к нему привел Платон, — это любознательный урус. Урусы, он знал по опыту, всегда любознательны. И этого примут, дадут то, что ищет, — дело-то привычное. Он стал весь внимание.

Батал уже давно устал и от мудрости своей, и от обязанности судьи, и от долгожительства. Ему бы кряхтеть и жаловаться на старость, сидя у очага. Вozиться с ним есть кому: одна из дочерей находилась при нем; так и не вышла, бедняжка, замуж, посвятив ему жизнь. Он бы с удовольствием отсылал всех, кто приходит к нему за советом и судом, к живущему через забор Платону. Тем более тот так желал именно этого. Однако Батал чувствовал, что много прорех еще в зеленом древе знаний Платона. Батал был строг.

Платон был уже навеселе и знал, что старик этого не любит. Но сегодня как-никак праздник. Он любовно похлопал по плечу уруса и начал рассказ. Он намеревался изложить случившееся как пример женской глупости, ведь виной всему была его жена. Но надо же было, чтобы именно в этот момент подошла со столиком дочь старика и, решив, что невежливо не послушать соседа, остановилась в сторонке. Платон не мог при ней пользоваться готовыми высказываниями против женщин, а без высказываний этих весь рассказ перепутался в голове, как клубок. Смутившись, он как-то оголил свою повесть. Из него выпала суть: как его жена свой порыв жадности приняла за порыв защиты сыра от поругания. Он сразу заговорил о том, как замахнулся посохом на замечательного уруса, не сказав, что был введен в заблуждение этим шайтаном в человеческом облике — женщиной. «Представляешь, Батал, *дад!*» При этом Платон дружелюбно похлопывал гостя по плечу. Гость согласен кивал. Ох, не надо было вовсе упоминать о посохе!

— *Дзондз* этот урус, самый настоящий *дзондз*! — еще раз выпалил он.

Лодкин кивнул, подтверждая.

Платон сделал сразу два прокола. Нельзя попрекать гостя, пусть даже он слопаёт круг сыра величиной с мельничный жернов. А что Платон в свой рассказ, который, как и должно быть, излагался патриархальным словарем, вставил самое что ни на есть мингрельское словечко «*дзондз*», — этому старик, кажется, значения не придал. Зато, на беду Платона, еще какое значение придал этому Кесоу. Действительно, выглядело все очень комично. Сидит Платон напротив Батала; особенно много говорить ему не положено, зато он произносит и произносит всласть слово «*дад*», а это прерогатива старцев. И опирается на посох — тоже прерогатива старцев. «Да, Батал, *дад!*» — подтверждает он слова Батала, что позволено не каждому. И вдруг — слово «*дзондз*».

Именно благодаря этому ненароком произнесенному слову вся история осталась у людей в памяти. Мингрельское слово в устах старца! Старец особенно должен следить за своей речью. В ней не должно быть никаких иноязычных слов и выражений. Тем более из мингрельского языка! Тем более сейчас, когда именно мингрелы возглавляют там в Тбилиси всю возню против абхазов, *вообще*.

Вот, оказывается, дорогие языковеды, как входят заимствования в речь. Их сначала произносят смеясь, подавая с историей их возникновения, как в нашем случае со словом «*дзондз*». Со временем связанная с этим словом история и ее юмор забываются, а слово осваивается и остается в речи, как примак, получивший отрезок земли. Сказали же мудрые: «Кобыла околеет — остается поле, а человек, умирая, оставляет слово».

В нашу речь вошло-таки слово, означающее, собственно, «патлатый», вытесняя абхазский эквивалент. Платон пока еще останется полустариком. Каждый раз как упрек ему будет всплывать слово «*дзондз*», однажды ненароком слетевшее с языка.

О быстротечном времени

В отличие от земных владычиц, которые сначала бывали милыми детьми, наливающимися девицами и только потом становились грозными и сладострастными женщинами, у Владычицы Вод судьба оказалась вывернутой, как ступни. Ей пришлось пережить обратное: она сперва была величественной царицей, а затем превратилась в ребячливую и похотливую русалку.

Хотя страх перед ее силой в общем-то оставался — оставался вплоть до наших дней. Например, когда приводили в дом невесту, ее не отправляли по воду, не выполнив обряда поклонения русалке, чтобы та позволила невесте набирать воду, которую семья употребила бы без вреда. Женщин на сносях также не пускали к воде, чтобы русалка не заколдовала плод. После заката детям не разрешалось выходить на улицу, особенно к берегу реки, ибо и тут старшие опасались, как бы русалка не нагнала на детей хворь.

Это была не обычная рыбохвостая европейская ундина. Ноги у нее как раз имелись, только ступни их были повернуты пятками наперед. Вот почему, чтобы найти ее по следу, нужно было идти в обратную сторону.

Она могла нападать на людей, мстя им за отчуждение и измену. Русалка не боялась огнестрельного оружия, не боялась и шашки, потому что могла ухватиться за ее тыльную сторону. Беззащитна она бывала только против обоюдоострого кинжала. Поэтому женщины, идя за водой, на всякий случай вооружались кинжалами. Но достаточно было и того, чтобы женщину сопровождал черный пес. Хотя вообще-то на женщин она и не нападала. Нападала русалка исключительно на мужчин. А мужчины, считая за стыд обнажать оружие против женщины, вступали с ней в рукопашную борьбу. Только при одном условии такая рукопашная схватка заканчивалась победой для храбреца: русалку нужно было повалить на живот; на спину она, из-за вывернутых стоп, не падала.

Однажды охотник Акун-Ипа из рода Хаттов схватился с русалкой на берегу Омута; сияла луна, он победил адзызлан. «Если ты дерзнула напасть на меня, потомка витязя Хатта, то вот что тебе полагается», — сказал он, отрезал прядь от ее золотой косы и спрятал себе под шапку, таким образом поработив ее. Русалка вспылала страстью к победителю. Она показала ему десять пальцев, тем самым умоляя его сожительствовать с ней десять лет. Он отрицательно качнул головой, памятуя, что, если заговорит, русалка, завидующая людям, способным выражаться словами, тут же ввергнет его в немоту. Она показала ему девять пальцев, но охотник Хатт снова отказался, памятуя о долге перед юной женой, которая ждала его дома. Русалка загибала каждый раз по пальцу, но охотник кивнул в знак согласия только после того, как она показала ему перекрещенный мизинец — полгода. Затем охотник заставил ее произнести *уаихо* — нерушимую клятву, доставшуюся нам от *хаттов* — родных братьев абхазов, погибших еще в древности от учености. После чего остался на полгода жить с русалкой — ровно столько, сколько, по его представлениям, мужчина, ушедший в поход, мог отсутствовать, не вызывая подозрений со стороны юной жены. В первый же вечер он пожалел, что срок уговора по его вине столь краток, и впервые наутро охотник не приветствовал восхода солнца.

Но, живя с русалкой, он истосковался по родному дому, и как-то, то ли через шесть месяцев, то ли через шесть лет, они прибрели к его хутору и, обнявшись, уснули на крыльчке амбара. Утром проснулась жена охотника и вышла к амбару набрать проса. Глазам ее предстала такая картина: русалка спала в обнимку с ее пропавшим мужем на высоком крыльце амбара, построенного на сваях. Длинные распущенные волосы русалки золотой волной ниспадали вниз, и концы их, колышимые ветерком, волочились в пыли, так

что жене охотника на миг показалось, что волосы застыли, а амбар качается в разные стороны, словно на невидимом колесе. Некоторое время она стояла, печально глядя на безмятежно спящих, а потом, осторожно приподняв волосы соперницы, положила на крылечко рядом с ней и, не набрав проса, ушла в дом.

Русалка все это видела, она только притворялась спящей. Она немедленно встала и, не будя Акун-Ипа, ушла прочь, навсегда ушла из жизни супругов. После этого она никогда не беспокоила никого из рода Хаттов и открывала женщинам этого дома секреты снадобий от болезней, которые она насылала на людей и на скот. А в доме Хаттов с этих пор никогда не заводили черных псов.

И осталась она внутри своего бессмертия — легкомысленная, одинокая, лишь изредка предаваясь тоске. В такие минуты она садилась на берегу Омута и бросала в мглистую воду маргаритки, наблюдая, как они медленно тонут. И все время перед ее глазами вставала одна и та же картина: женщина поднимает ее волосы и кладет рядом с ней на крылечко амбара. Она вспоминала фигуру женщины, понуро идущей к дому без проса в пустой миске. Русалка вдруг ловила себя на том, что вздрагивала, как от холода: так ей становилось стыдно в эти минуты за трехсотлетней давности женское увлечение. Но тут же, быстро устав от умственного напряжения, она забывала и о женщине, и о непонятном ее поступке, выходила, прыгала в залитую луною реку и начинала плескаться в воде, наблюдая в брызгах радугу. Однако и радуга пугала ее. Смущала русалку не эта радуга, а смутное предчувствие того, что появится в ее существовании другая радуга, где все цвета будут грязнее. Русалка знала, что это будет знаком конца. Она была божеством, она была бессмертна, но знала, что вечность ее существования однажды может, остановившись, превратиться в один нескончаемый болезненный миг, подобный тому мигу, когда она вздрагивала, как от холода, от неприятного воспоминания трехвековой давности. Или что-то в этом роде. Но пока время не думало останавливаться.

Время обтекало Абхазию, особенно ее не меняя. Слава русалки затухала. Слава ее затухала и сужалась, подобно кругам на поверхности Омута. Но кругам, возвращающимся к центру, чтобы остановиться, замереть в исходной своей точке.

Только род Хаттов был всегда удачлив в охоте.

А когда отгремели залпы революции, последний эксплуататор из рода Хаттов умер на руках растроганных крестьян. Многочисленный и передовой род Гариба, когда-то служивший Хаттам, взял на себя воспитание двух сыновей князя. Умирая, он собрал их и сказал.

— Сейчас я уйду в мир иной, там мне надо кое с кем посоветоваться: времена нынче переменчивые. Вернусь по истечении трех лет.

Прошло три года. Савлак так и не пришел оттуда. Это было первое скитание, откуда он не вернулся. И его последние слова остались единственными, которые он не сдержал. Зато ушла эртоба, и пришла Советская власть.

Но надо было Хатту Савлаку сказать, что вернется он не через три года, а хотя бы семь лет спустя. Потому что протекли, как вода, три года — и ка-ак начали тут его сыновей воспитывать! Познали, бедолаги, лиха. Один из братьев, выросши, уехал в город и стал там жить. Это отец Матуты, знаменитого абрека. Другой же был в детстве уронен, остался на всю жизнь хромым, и звали его Наганом. Он был на редкость бестолковый человек, этот последний Хатт. Никакого уважения односельчан не удостоился.

Теперь пора рассказать нам о государственном деятеле и поэте Григории Лагустановиче. В Хаттрипше его особенно любят и называют: наш дачник.

Еще ребенком привозили его к нам в деревню. Бывало, бегают он по лужайке, собирает цветы, мама нежно кличет его, а Григорий Лагустанович все бегают, собирает цветы, и хоть бы раз замарал, касатик, свой белоснежный, взрослого покроя, кителек. И когда он построил у нас дом, то есть стал дачником, он заявлял, что предпочитает жить здесь, а не в городском своем жилище. «Пусть там Хасик живет с матерью, а я люблю тут, с народом», — говорил он часто, останавливаясь у чьих-нибудь ворот по пути на рыбалку.

Пока русалка сидела, который век стараясь растолковать себе поведение жены охотника Акун-Ипы, Григорий Лагустанович решил научить народ разводить зеркальных карпов. И тут его не устроило извилистое русло реки: оно проходило вдали от его участка. И вот однажды, подобно персидскому поэту Фирдоуси, выделил Григорий Лагустанович деньги на прорытие нового прямого канала, по которому вскоре побежали испуганные волны реки. Это было довольно далеко от Мутного Омута, и русалка не была потревожена в своем последнем уединении. Только в первое же наводнение река вернулась в прежнее русло, а канал вскоре превратился в болото. И в нем, прямом и длинном, заквакали лягушки — как в русле того древнего канала, на берегу которого священник Иоанн в дореволюционные времена записывал голоса лягушек. Крестьяне стали требовать от Лагустановича засыпать канал, как когда-то их предки от князя Савлака из рода Хаттов. Григорий Лагустанович тут же нанял бульдозеры, но выкопанная земля осела настолько, что ее не хватило на обратную засыпку. Пришлось нанимать трактора с прицепами и везти с морского берега гальку. Море придвинулось еще на двести метров.

Море стало ближе, а на месте папоротников высился обезьяний филиал. Русалка осталась совсем одна. Часто ночами она сживала на проводах, которые приятно пощипывали ее бегущим по ним током, и при этом с неприязнью глядела на освещенное и веселое село, словно электричество провели только для ее щекотки.

Как-то утром русалка заметила человека, сидевшего с удочкой на берегу. Он был пухлый и важный, как фарфоровый божок. Казалось, он получал удовольствие не столько от рыбной ловли, сколько от того, что культурно отдыхает и дышит воздухом. Давненько русалка не нападала на мужчин! Ей захотелось по-старинному созорничать, хотя стоял уже день, да и человек не казался ей привлекательным. Она подкралась к нему сзади, чтобы схватить за волосы, предвкушая, как он сейчас вскрикнет от неожиданности, а она тут же ввергнет его в немоту. Давно у нее не было жертвы. Русалка медлила. Обошла его и повисла перед ним. Рыба, между прочим, клевала, но человек в задумчивости не замечал этого.

Русалка схватила его за волосы. Увы, человек не отреагировал. Она пощекотала его под мышками. Григорий Лагустанович, а это был он, равнодушно полез в карман куртки за сигаретами. Русалка висела в воздухе, прямо перед ним. Лагустанович спокойно прикурил от серебряной зажигалки и выпустил густой дым. Дым прошел сквозь тело русалки.

Тут только русалка поняла, что не дана человеку в его ощущениях!..

В эту ночь русалка напилась сока хмельных трав с берега мутной реки. Она думала о том, что утратила не только власть, но и плоть. С печалью и ужасом осознавала она, что с исчезновением последнего слабоумного, который может еще поверить в нее, который может еще ее вообразить, она перестанет существовать.

О бесшумном походе

— *Тит, Мазакуаль!** — рассердился на свою дворняжку Могель и шлепнул ее по уху.

Она оскалила было зубы, но потом вдруг заглянула парню в глаза с кротким упреком. Не выдержав собачьего взгляда, Могель смутился.

Это была умная собака: все понимала, только говорить не могла. Но сегодня, когда Могель отправлялся в путь, ей не следовало увязываться за ним вместо того, чтобы остаться со Старушкой и стеречь дом. Он ругал ее на мингрельском, русском, даже турецком языках, но, наверное, чувствуя в его голосе недостаток требовательности, собака упорно шла, то отставая, то обгоняя его. Присев на корточки, Могель стал страстно увещевать ее, напоминать о собачьем долге быть преданной дому и хозяйству и о том, как тяжело будет Старушке без птичьего мяса. Дворняга только скулила. Упорством своим она напоминала хозяина.

И тогда Могель не выдержал и поднял на нее руку. Ударил по уху. Ответный взгляд собаки был так красноречив! Она понуро побрела назад, не попрощавшись и не оборачиваясь. Могель слегка расстроился, но тем не менее продолжил путь с большим облегчением.

Мазакуаль была собака обычных кровей, но необыкновенная. Она умела охотиться, хотя охота ее была сомнительного характера. Бывало, уйдет с утра из дому, а вечером возвращается, гоня перед собой индейку, утку, а то и гуся. И делала это так здорово, что ни разу не была уличена хозяевами живности. Ни разу. Иногда она уводила птицу у родни. Старушка настаивала, чтобы вернули родичам краденое, но Могель бывал тверд: потерю он возмещал родственникам другими способами, а собаку заложить не мог. Так и выходила Мазакуаль на охоту, оставаясь вне подозрений. Зато ночью она, забравшись под дом, так дрыхла, что хоть все уноси.

Жаль было собаку, но дома Старушке она была нужней. Могель смахнул с себя грусть и бодро зашагал дальше.

В путь! В Абхазию, чтобы стать человеком!

Солнце поднялось и стало пригревать спину. Могель шел, полный сил и радостных надежд. Услышав шум позади, он остановился.

Узкий желтый велосипедист заставил его отойти к дорожной яме. Прозрачный, как стрекоза, он, казалось, парил над асфальтом. Могель зажмурился. Открыл глаза — видит то же самое: на велосипеде не кто иной, как пожилой мужчина с благообразной бородой. А по почерку езды и не скажешь: легко справляясь с вещмешком, закинутым за спину, он так прытко крутил педали, что Могелю показалось на миг, что и он, и собака пошли назад, а велосипедист застыл. Только колеса его машины, как в кино, крутились в обратную сторону.

— Бездельники! — сказал Могель, имея в виду и пожилого спортсмена, и машину. — Никакого дохода государству не приносят!

Велосипед прострекотал мимо, обдав его особым ветерком из детства. Могель пошел дальше, несомый хорошим настроением.

Могелю было за двадцать, но до сих пор он по-настоящему жить не начал: не успел ни жениться, ни переехать в Абхазию. О какой женитьбе могла идти речь, пока он оставался в деревне — ведь ни одна достойная девушка деревни Великий Дуб и окрестностей не пожелала бы гнуть с ним спину на колхозных перцовых полях, вместо того, чтобы уехать в Абхазию или Тифлис, как это делают все, кто могут. Так и жил Могель, стоя одной ногой в деревне Великий Дуб, а другою готовый шагнуть через порог в поход

* Пшла, Плутовка (минг.).

на запад. И все потому, что родился позже братьев и сестер, и, пока подрастал, они опередили его, уехали: старший брат в Абхазию, средний в Тифлис, а сестры повыходили замуж, тоже кто в Абхазию, кто в Тифлис. А на него, на младшего, оставили дом и Старушку-мать. Но в этом году он почувствовал, что, если застрянет тут еще немного и согласится на предложение стать бригадиром, как тут же пойдут деньги, тут же начнет строить двухэтажный дом, займется, как и все соседи, перцовыми парниками — и тогда прощай мечта жить в прекрасной и нежной Абхазии!

И Могель поступил как настоящий мужчина. Однажды, в разгар дружеской пирушки, которую он устроил в честь приезда племянника на учебу в сельскую школу, когда было выпито столько, что сердца юных холостяков уже начинали ныть от тоски по полноте жизни, Могель потребовал рог и, прежде чем его осушить, объявил о своем решении уехать в Сухум и назвал намеченную дату отъезда.

— *Диду, чкими цода!** — завопила Старушка, сидевшая одиноко у камина, но все слышавшая. — Сейчас поклянется он, поклянется, не дай Бог!

— Будете мешать мне — отравлюсь жидкостью БИ-58! — пригрозил Могель, подтвердив это клятвой костями своего отца. — Вот ты и будешь тут за хозяина! — обратился он к племяннику. — Будешь?

— Буду, буду, — неохотно отвечал племянник, который уже пожил на свете пятнадцать лет и не любил сантиментов.

Стало ясно, что Могель непреклонен. К тому же одно обстоятельство решительно способствовало тому, чтобы Могель с легким сердцем покинул отчий дом и престарелую мать-Старушку. Племянник его, сын старшего брата Энгештера, жившего в Сухуме и женатого на гречанке, выдался шалун и устраивал родителям проблемы, и отец привез его в деревню, чтобы он учился в здешней школе, где дисциплина еще есть, или был бы по крайней мере подальше от глаз иностранных туристов. Так что, если племянник не совсем законченный лоботряс, то при матери оставался почти уже мужчина, который мог присмотреть за ней и помочь по хозяйству.

Мать испуганно молчала. Она надеялась, что за время, оставшееся до объявленного сыном срока отъезда, она успеет его сжалостить, сын же решил, что как раз этого срока достаточно, чтобы мать привыкла к неизменности его решения.

— Мужским словом себя связал твой сын: не мешай ему, мать! — сказали приятели Могеля и тоже осушили рог. — В Абхазии, может быть, он сейчас нужнее, — загадочно добавили они.

— Знаю, знаю, что неймется вам, — пробурчала Старушка, но ее никто не слушал. — Тифлис заведет вас в очередной раз...

Разговор за столом зашел о политике, всеобщей страсти последнего времени. Все парни были членами Общества Ильи и еще какой-то хельсинской группы. Но выпито было много и уже не мечталось о будущей свободе и независимости. Хотелось браниться.

— Грузия поднимет меч! — вздыхали они, проклиная руку Москвы и сепаратистов.

О, влажная страна! О, слезами залитые пороги!

И с этого самого дня Могель стал отсчитывать дни и готовиться к отъезду. Первым делом он отказался от предложенного-таки бригадирства и даже устроил на свадьбе председателевой дочери такой шумный *чхун***, что испортил себе авторитет. А когда приехали сестры поговорить с ним, он им заметил, что не сами братья приехали отговаривать его от похода на запад, а прислали сестер, зная, что сестер он не станет упрекать за то, что те вышли

* О, горе мое! (минг.).

** Драчка (минг.).

замуж и ушли из дома, ибо женская доля именно такова, а братьев бы упрекнул, и наконец вполне решительно пригрозил, что отравится ядом БИ-58, коли не перестанут чинить ему препятствия.

И вот сегодня утром Могель обнял Старушку и ушел. Она не устраивала истерики. Она села у окна. Берегись абхазов, сын, только напомнила она слабым голосом, они хищны и многочисленны. Темная моя мать, как может абхазов быть много, когда их даже в автономной республике семнадцать процентов, подумал Могель, не говоря уже о том, что шестнадцать процентов из них составляют наши же предатели, записавшиеся абхазами из корыстных побуждений, читала бы альманах «*Матиане*»*, но не стал спорить со Старушкой, а только кинул через плечо:

— Хорошо, поберегусь!

Он вдруг почувствовал, что стоит ему обернуться к Старушке, как расчувствуется и вернется. Потому не стал оглядываться. Старушка оставалась одна. Могель понимал, что на племянника надежды было мало. Оболтус почти не сидел дома. Но как только он вышел на дорогу, дорога тут же захватила его. А Старушка села у окна. Она взяла чонгури и села у окна. Под дребезжание трех волос, выщипанных из хвоста трудяги-мерина, Старушка пела о влажной стране, откуда сыновья норовят уйти, чтобы в чуждых-родных краях обрести достаток и покой. Она пела о родниках, обитых камнем. И так и просидела, серебряная, весь день. Просидела всю жизнь.

О деревнях вдоль дороги

Дорога захватила Могеля. Он шел, строя личные планы, и полный самых невозможных надежд. Хорошо, что собака отвязалась, подумал он. Окрестные жители, видя парня в коротких потертых штанах с притороченной к древку сумой, доброжелательно махали ему рукой. Они догадывались, что и этот юноша подчинился стихийному движению на запад.

Могель наяву воображал вождеденный край. Одно его смущало — это сами абхазы, точнее их сепаратизм. Несправедливость Центра устраивала их вполне, и поэтому каждый раз, когда Грузия восставала за независимость, Центр выставлял против нее кладающих зубами абхазов. Ничего, приеду — разберемся, подумал Могель, весело шагая и напевая песенку о незадачливом сватовстве:

— *Арти кочи кумортудо, на!***

Эта песня неотступно сопровождала его весь поход. Он шел, бодро постукивая мозолистыми ступнями в такт песни, и полуденное солнце его не утомило и не заставило искать тени. Только ноги через некоторое время стали нестерпимо болеть от ходьбы босиком. Могель извлек из сумы новенькую обувь, которую он не собирался трогать до прибытия в Абхазию. Это были мокасины. Коробейница Эдуки, предлагая их, уверяла, что это наимоднейшая обувь, что именно в таких ходит певец Кикабидзе, только русские, показывая его по телевизору, нарочно срезают ему ноги, чтобы их женщины окончательно не сошли с ума по Бубе. Могель и тогда сказал, что все эти певцы и поэты и довели Грузию до ручки, но обувь ему понравилась. Он выложил за мокасины столярник, который тогда еще был деньгами. Мокасины эти были почти оружие. Острые носки у них были с медными наконечниками. Поэтому он хотел обуться уже входя в Сухум, чтобы — с намеком. А еще мокасины мелодично поскрипывали при ходьбе. По бокам у них шли

* Летопись (груз.).

** Пришел один мужчина, мать! (минг.).

дырочки, чтобы ноги проветривались. Пошиты они были из перламутровой кожи, так что и чистить их не надо было.

Жаль было их надевать пока, но и без этого было уже поздно. Мозоли на ступнях парня успели потрескаться, обнажая мясо. Могель мог ступать легко не только по земле, но и по покрытым колючими кустарниками лесам Колхидской низменности, но, как ни прочны были мозоли на его пятках, они все же не выдержали соприкосновения с гудроном, с химией. Поэтому ходить в мокасинах стало еще тяжелее. Он разулся и спрятал их в суму.

Только эта боль в ногах отравляла ему радостное шествие.

По густому раскаленному воздуху его догнала собака. Он успел о ней забыть, уверенный, что она вернулась в деревню.

— Догоняй, догоняй! — закричал Могель, пока замечая только собаку, и в голосе его была ирония, смешанная с негодованием. — Пропишу тебя в центре Сухума!

Собака подошла. Она многозначительно посмотрела в глаза Хозяина. Она гнала перед собой индюка и индейку.

Что ж, вернулась — так вернулась. С собакой идти веселее, а птицы были упитанные, могли согнуться в дороге, мало ли чего. Вот только боль в ногах. Но Могель и тут нашел выход. Сойдя на обочину, он выбрал на берегу речки замечательную глину, которой всегда славилась Колхида. Он сел на камень, обработал глину и наложил себе на ноги. Потом, уже на ногах, стал эту глину лепить, придавая ей вид обуви. По бокам нарисовал орнамент, а на месте, где на кедах эмблемы, изобразил кабанчиков с папоротником в зубах — деталь средневекового мингрельского герба.

Собака поняла, чем Хозяин занят. Она подогнала птиц, давая знать, что и они испытывают неудобство при ходьбе. Опустив свои ноги в воду, Могель вывалял в глине также лапки птиц. Потом, задирая ноги и скользя на зад, он поднялся от берега на лужайку. Тут он пригнул побег лианы, перекинул ноги через ее лозу и удобно лег, подставляя ноги палящему солнцу, тогда как верхняя часть туловища была спрятана в тени дерева. Одновременно надо было держать птиц, причем сразу двух, что было сложнее. Умная собака и тут пришла на помощь. Она налегла на птиц и стала удерживать их в одном положении. Это было здорово. Могелю оставалось только придерживать их лапки меж пальцев. Теперь дело было за солнцем. Солнце и время сделали свое дело: пару часов спустя глина на ногах Могеля и лапках птиц затвердела и обожглась. Постелив для мягкости травы в свою новую обувь, Могель отправился дальше в путь. В путь! Теперь и ему, и птицам стало намного легче идти. Могель цокал по гудрону на глиняных ногах, а впереди цокали индейки. Легконогая собака контролировала шествие. Вскоре наступил вечер и с ним желанная прохлада.

Желая привыкать к полной самостоятельности, Могель решительно миновал все повороты к домам родственников. Жмурясь от закатного зарева, он принял решение переночевать прямо в поле. Когда окончательно стемнело, Могель нашел удобное тутовое дерево у обочины и, усевшись под ним, разулся и перекусил. Потом, сунув глиняную обувь в суму, взобрался на вершину дерева и расположился на ветви, привязавшись к ней ремнем. Птицам при окаменелых лапках было трудней взбираться на дерево, но и они справились с задачей: преодолевая ветку за веткой, они добрались-таки до уровня хозяина. Там они затихли. Собака разлеглась под деревом и немедленно стала, дура, дрехнуть.

И было затем чудесное утро. Вдали засверкала голубая река, раскидавшая на белых камнях свои рукава. И с левого боку — море. Это была граница, за которой начинался совершенно другой мир. Там кончалась гли-

нистая почва, там кончались болота с чахлыми ольховыми ростками, там кончалась влажная страна — и начинался вожделенный берег, где буйствовала диковинная природа, а аромат, переполнявший тот берег, рвался и сюда, но сквозняк речной долины уносил его к морю, и лишь изредка нюх улавливал мгновенное дуновение, успевая опьянить и вскружить голову.

Собака вышла вперед и побежала по мосту. Могель, подгоняя птиц, тоже прибавил шаг. Стуча глиной по мосту, он пошел сквозь толщу пьяных запахов.

Собака за мостом вдруг остановилась, словно неожиданно наткнулась на стеклянную стену.

Это была мингрело-абхазская граница. Могель вступил на нее с песней, преображенный и хмельной. И хотя он умолк, задыхаясь от новых ощущений, песня незадачливого жениха продолжала петься его собственным голосом, но со стороны. А когда случилось полное чудо, он уже не шел, а танцевал.

Ибо тут, на мингрело-абхазской границе, земля дрогнула под ним и, послушная его стопе, задвигалась назад. Теперь он уже не шел, а шагал на месте, подобно потийскому циркачу на барабане, с тою только разницей, что золотое колесо барабана вместе с циркачом словно бы двигалось назад, он же, Могель, если взглянуть со стороны моря, будто бы стоял на месте. То, что открывалось со стороны моря, необходимо представить в кадре: Могель шел, а горбинка почвы под ногами, как обод золотого колеса, двигалась к нему от каждого толчка его ступни. Он шел, танцуя, словно Заратустра. С каждым шагом придвигая абхазскую землю. А мингрельская земля, уходя из-под ног, позади собиралась в гармошку. Движения его были примечательны: это была та самая грань, где кончался бег трусцой и начинался кавказский танец. А песня, которая сопровождала его всю дорогу, оказалась как нельзя более к месту. Он пел: *один мужчина пришел и сказал мне, мать, что нашел такую девицу для меня, которая все умеет по дому, все умеет, мать!* Песня, где предвкушение любви, которая есть окончательное повзросление, целомудренно прячется. Но чувственность сквозит в задорном мотиве песни, говоря сама за себя.

И эта песня, такая сладостно-интимная, имела свойство, как и большинство южных песен, превращаться в мощный хорал, когда ее подхватывало множество голосов. Грянула эта песня, перекрывая рокот Ингура-реки, гимном пионеров новых земель, и в торжественных ее ладах вырастала энергия и напористость первопроходцев — в торжественных ладах, к которым тонким контрапунктом примешана была нотка тревоги, охватывающей при вступлении в новую жизнь. А для глядящего со стороны моря открывался вид на зеленый дол, где плясало множество юношей и дев на движущейся из-под ног земле. Они плясали по одному и группами, а иногда, странным образом, даже несколько человек на одном месте. Еще вдобавок, что было очень странно, ряды танцующих постоянно наполнялись людьми, которых несло навстречу этому танцу вместе с почвой и со всей природой, вместе с запахами абхазской земли, ее лесами и озерами, наполнялись людьми, чьи хищные оскалы и холодные глаза выдавали абхазов. Они, поравнявшись с танцем на лугу, неловко, как с эскалатора, спрыгивали с почвы и тут, притормозив, вдруг вздрагивали и меняли выражения лиц, как от укуса вампира, глаза их мгновенно теплели и хитрели и, преобразившись и обернувшись назад, присоединялись к танцу, рвясь туда, откуда только что их принесло, и земли не узнавая.

Все умеет она, все умеет; ты ее полюбишь, моя мать!

Песнь гремела над зеленой долиной, и все ее семиголосье было слышно совокупно, но не слитно. Потом вдруг верхние голоса выделились, зафальшивили, завизжали и стали похожи на вой. Могель проснулся. И сразу

грубо и резко из дионисийского ликования был переброшен в явь, в ночь, на вершину тутового дерева.

Волки были ужасны.

Это были они. Волки были уже тут, под деревом. Могель, и без того дрожавший от сырости, затрясся, затрепетал. Ему стало жаль себя. Волки видели его, хрупко привязаного к ветви. Суетясь под деревом, так что угли их глаз так и мелькали, волки клацали зубами, как абхазы.

Объятый ужасом, с дрожащими членами, не уверенный, что сумеет удержаться на дереве, Могель повис над волчьим воем и скрежетом зубов, с тоской вспоминая оставленную в одиночестве мать-Старушку. А птицы, сидевшие по соседству, даже не проснулись. Они спали на ближайшей ветке, прильнув одна к другой и спрятав головы, спокойно уверенные, что в последний момент крылья выручат. Дворяжка же, конечно, успела улизнуть, да и что она могла сделать против стаи хищников.

Могель провел жуткую ночь. Только к рассвету волки удалились. Потом с виноватой мордочкой появилась собака, невесть где прятаяшаяся. Рассвет приносил успокоение. Могель даже соснул еще немного. Когда взошло солнце, он сбросил с дерева птиц и слез сам. Разминаясь, спустился к речке, умылся и позавтракал ежевикой. До мингрело-абхазской границы было пока далеко. Она появилась лишь через несколько часов ходьбы, и перешел ее Могель спокойно, безо всяких приключений и танцев.

Больше всего Могеля удивило, когда он пошел по абхазской земле, что никаких перемен он не ощутил, как будто продолжал шагать по Мингрелии. А еще они клацают зубами и говорят, подумал он. Самое главное — самих абхазов нигде не было видно, словно вернулись в Адыгею. Он шел целый день до самой темноты, а все было по-прежнему. Главное, ни одного абхаза.

Из задумки медленного вхождения в Абхазию ничего не получалось. Идея как-то себя истощила. Собака Мазакуаль первая дала знать о целесообразности воспользоваться транспортом. Процокав еще с утра весь день по такому же, как в Мингрелии, гудрону, Могель понял, что и ему это надоело.

«Вот переночую сегодня на ближайшей тутовке и завтра с утра — на автобус!» — решил он.

До сумерек оставалось несколько часов, а он уже выбрал удобную для ночлега шелковицу. Он уселся под деревом, снял глиняную обувь и спрятал в суму. Индейки быстро поднялись на дерево. Собака тут же убежала. Созерцающая вечернюю окрестность, Могель запел.

О беседах у огня

Могель тихо пел, сидя под тутовкой и созерцающая вечернюю окрестность. Мимо него по тропе проехала арба, груженная дровами. В арбу были впряжены два буйвола. Верхом на дровах сидели два мужика. Глаза у них так и зыркали, так и стреляли, зубы у них так и клацали — ясно было, что они абхазы. Тем не менее, Могель встал и поклонился им, как положено в сельской местности. Мужики тоже привстали на дровах, приветствуя его. Наверное, именно тогда из арбы выпал топор. Юноша заметил его, когда арба уже пересекала трассу. Он вскочил, поднял топор и побежал догонять арбу. Выбежав на трассу, Могель чуть было не угодил под колеса импортной и такой шикарной машины, что она переехала бы его, не заметив. Взгляд водителя на мгновение упал на Могеля, как тень. Юношу сразу обдало холодом мчащихся мимо флюидов. Иномарка затормозила, и водитель вы-

скачил из нее. Могель уже успел вычитать номерную серию машины, потому что она была блатной и легко запоминающейся — 88-88.

Вот таким образом выглядело первое знакомство Могеля с абхазом: он стоит у трассы с топором, сверкающим под косыми лучами заката, а абхаз, решивший, по-видимому, что парень собирался с этим топором кинуться на него, замедленным шагом идет на Могеля и на ходу нащупывает за поясом, наверняка, пистолет. В эту минуту Могель не стал бы просить у мгновения остановиться.

Если бы не флюиды, трудно было бы себе представить, что это знаменитый Матута Хатт. У него было невинное выражение лица, что, правда, уже издавна нарочно бросилось в глаза. И он надвигался. Могель вообще-то был не робкого десятка. Но одно дело драчки на темпераментных мингрельских свадьбах. Иное бандит с флюидами и пистолетом. Тогда как если что-то заботило Матуту в предполагаемой стрельбе, то только последующие хлопоты с органами и расходы с прокуратурой. Будучи верующим человеком, но деятельным вором, Матута задумывал за три года перед смертью собрать братву и сообщить, что отходит от черного мира, желая посвятить остаток жизни душе. Именно душе, потому что сердца у Матуты не было, оно уже сгорело в лагерях и отсидках. Вот что угрожало Могелю у деревни вдоль трассы, где он мог стать жертвой человека, спокойно считавшего, что о своих грехах подумает не сейчас, а в те последние три года перед смертью. А каким образом он собирался отсчитать именно эти три последних года жизни? Этого Матута еще не решил.

На арбе верхом ехали Платон с Кесоу. В отсвете своего топора они увидели надвигающуюся грозу. Запряженная буйволами арба стала поворачиваться, совпадая в скорости с медлительностью Матуты, который все же не спешил отягощать себя новым криминалом, хоть не боялся ни хлопот, ни расходов. Быстрее, к счастью, оказались голоса дяди и племянника.

Оба с первых же фраз дали знать Матуте, что узнают его и гордятся им. Еще дали знать, что парень просто несет им топор, который они только что выронили. Матута понял. Он понял, что Могель вовсе не мыслил нападать на него. Мощными усилиями Воли, закаленной на Магадане и кое-где еще, он остановил кинетическую энергию агрессии, которая вела его тело. Однако все силы ушли на самоторможение, и для того, чтобы поздороваться с мужиками, сгладить конфуз и как-то эпизод завершить, ему надо было включать дополнительные источники Воли. Матута относился к деревне с уважением, а жителей считал земляками. Этих людей он тоже знал. Но сейчас эпизод завершать не стал. Неохота ему было включать дополнительные источники Воли. Его презрительный взгляд, задержавшись на миг на Могеле, по дуге пересек арбу и ее обитателей, а сам Матута, не говоря ни слова, вернулся в машину и уехал с резкостью, которую можно показать только на легкой иномарке. Крестьяне проводили его уважительным взглядом.

— Совсем сумасшедший! — сказал Могель. Крестьяне отметили в пользу Могеля, что он вовсе не напуган, а угадав в нем по выговору мингрельца, тут же стали защитниками Матуты, пытаясь объяснить его поступок.

— У него же нервы не выдерживают, вообще! — сказал сумрачно Платон. — Все органы одного Матуту отслеживают!

— Он — загнанный зверь! — воскликнул Кесоу, и тут же дядя подозрительно покосился на него: серьезно он говорит, или издевается над старшим человеком — то есть над ним. В этом он подозревал племянника постоянно.

Могель сказал, что он путник. Не сообщил он только, что намеревался заночевать на шелковице, и не сказал о своих спутниках, зная, что собака сама позаботится о птицах. Приняв приглашение новых друзей, он взобрался на арбу. Теперь, когда он стал их гостем, абхазы сочли необходимым Матуту осудить.

— Мужчина создан не для того, чтобы всю жизнь недозволенным заниматься. Не должен человек быть таким, не признаю я! А он всю жизнь укрывается! — произнес Платон, направляя хворостиной буйволов.

Кесоу тоже решил воскликнуть. Он всегда восклицал, а не говорил, этот Кесоу. В отличие от Платона, сумрачного богатыря лет за шестьдесят, это был юноша с открытым лбом, с правильными чертами мужественного лица — сельский красавец и сорвиголова.

— Матута — городской абрек! — воскликнул он.

Могелю понравились новые приятели. Они, как выяснилось, везли дрова сельскому старцу Баталу. Подъехали к уединенной усадьбе, огороженной частоколом. Кесоу отпер ворота, стал перед буйволами, пятась и понукая их, и завел арбу на зеленый дворик. К стволу дерева рядом с *пацхой** были приставлены дрова, навезенные ими за день. Это был их последний рейс, уже темнело. Их встретила старушка, дочь старика. Пока мужчины разгружали арбу, она суежилась рядом, мешая им и благодаря. Закончив дело, Платон и Кесоу стали разворачивать арбу, не вникая просьбам хозяйки зайти в дом и отдохнуть у очага. Уже у самых ворот их настиг голос самого старика Батала. Старик появился на крыльце дома, который высился на сваях рядом с пацхой. Скрюченный годами, он стоял, широко расставив ноги и опираясь на палку. Поняв, что гости отказываются войти, он крикнул голосом, неожиданно молодым и звонким для его возраста.

— Егей! Чтоб через полчаса вы прибежали на крик о моей смерти, если не вернетесь сейчас же!

Платону и Кесоу, связанным старческой клятвой, пришлось покориться. А вообще-то они собирались и зайти, и отдохнуть и прочее.

— Зачем беспокоить старца, — пробормотал Платон, разводя длинными руками. — И женщину зачем беспокоить! — добавил он галантно и направился в пацху, продолжая бормотать, что небольшое это дело — привезти старику дров.

— Коли зайдем — придется пить! — вздохнул-воскликнул Кесоу, что сразу насторожило его дядю: Платон пил, но пил как все, хотя жена его так не считала, а племянник мог на это намекать.

Дочь старика взбежала на крыльцо и помогла отцу сойти по лестнице вниз. Хозяин и гости по старшинству вошли вовнутрь хижины. Посередине хижины на земляном полу пылал очажный огонь. В углу у столика возилась девушка семнадцати лет. Бросив сито в миску, она обернулась и смущенно прижалась к стене.

— Как дела? — спросил ее Кесоу.

Она вспыхнула, не поднимая глаз. Могель порадовался, что перед встречей с крестьянами успел спрятать глиняную обувку в суму, так она была хороша собой, эта абхазка. Раз только, изменив своему обыкновению не поднимать глаза на мужчин, она на мгновение взглянула на Могеля, и так получилось, что взгляды их встретились. Глаза ее тут же опустились, и она еще больше зарделась.

В следующий момент Могеля стали представлять и, узнав его родовое имя, называть его дальних родственников и присаживать к огню. Придвинули столик.

Внучка присела у огня напротив, помешивая варево в котле. Престарелая дочь насадила на вертел индейку и стала поджаривать у огня, отстраняясь от жара угловатым плечом.

Мужчины медленно смаковали чачу в ожидании ужина. Каждый гово-

* Плетеная хижина (абх.).

рил о своем, не перебивая другого. Где-то притаившийся сверчок тоже пел о своем, особым объемным голосом придавая особый объем полумраку хижин. Старушка с таинственным видом, с каким она вообще говорила, стала рассказывать о своей родственнице из Великого Дуба, которую Могель отлично знал.

— Выйди, родная, кто-то пришел, — сказала вдруг она, хотя за распахнутой дверью пацхи ни собака не затыкала, ни другого шума не слышалось. Девушка воткнула рукоять лопатки в звено надочажной цепи и узкой походкой выскользнула на улицу. И Могель, и Кесоу проводили ее взглядами тайком.

Об абреках

У ворот стоял Хатт Матута. Он вышел из машины и попросил напиться.

— Заходи в дом, и мы угостим тебя вином, — сказала, как подобает в таких случаях, девушка со скромно опущенными глазами, но уверенным голосом.

— Спасибо, пусть добро к вам пойдет. Дай мне напиться, — ответил гость, очевидно приятно ощущая в горле привкус родного языка. А хотел бы ответить привычно:

— Я бы с кайфом, сеструха, но дела.

Девушка зачерпнула воды из колодца, наполнила кубышку и протянула путнику через забор. Наверное, так же чувствовала себя ее бабка, когда однажды ее попросил напиться его дед Хатт Савлак, гонимый и султаном, и царем. Наверное, и путник почувствовал себя на миг не жиганом, а усталым спешившимся всадником. Дрожа в лучистом конусе ее взгляда, он пил воду медленно и счастливо, а белой масти его «мерседес» фыркал невыключенным мотором. Затем он поблагодарил и уехал, а девушка вернулась в дом, к котлу с мамалыгой, по дороге забыв, но не совсем забыв статного молодца, утолившего жажду.

— Хатт Матута был здесь, — уже знала и таинственно произнесла старушка, хотя девушка только зашла и еще ничего не сообщила.

Но никто не спросил девушку, догадалась ли она пригласить его в дом. Наверное, он должен был находиться вдали, недостижимый и таинственный, чтобы лучше работало воображение создающих его образ как образ современного городского абрека.

Вскоре на столе появились индейка с мамалыгой и домашнее вино. И наконец, пришло время беседовать об абреке.

Когда Матута Хатт был последний раз схвачен, его привезли на суд, где во время перерыва к нему попросилась его возлюбленная красавица-гречанка. Охрана оставила их наедине. Минут пятнадцать спустя охрана открыла дверь и сказала:

— Короче, хватит там!

Но не увидела заключенного. Только плутовка-гречанка сидела и плакала у растворенного окошка. Матута давно уже поцеловал женщину в голову и вспрыгнул в ожидавший его «Москвич» с полным баком бензина. Но не растерялись органы в лице начальника опергруппы, знаменитого Коявы. Знаменитый Коява погнался за беглецом. Он рассуждал таким образом. Обычный преступник постарается удрать по лечкопской дороге, потому что она асфальтирована. Обычные органы тоже ринутся догонять его следом по лечкопской дороге. Но преступник поумнее выберет маяцкую дорогу; она, хоть и мощеная, но по ней он успеет скрыться, пока обычные органы ищут его по лечкопской дороге. Но такой умный и хитрый преступник как Матута

учтет, что органы тоже не дураки и что они, зная о его уме, кинутся обогнать его по маяцкой дороге, и потому, думал Коява, преступник попытается перехитрить органы самым простым образом: он поедет именно по лечкопской дороге, будто он обычный преступник. Коява быстро это вычислил. Недаром и сам он, и его отец, и его сыновья работают в органах, и, даст Бог, внуки будут работать там же. Но, разгадав коварство Матуты, Коява на этом не остановился. Он поступил еще хитрее. Он ринулся за Матутой не по лечкопской дороге, а ринулся как раз по маяцкой. Он решил, усыпив бдительность беглеца, который будет убежден, что его вычислили и настигают по лечкопской дороге, самому по маяцкой дороге раньше попасть на Тещин язык. На Тещином языке, как известно, и маяцкая, и лечкопская дороги сходятся. Он бы там его перехватил, потому что все-таки служебный «ЗИМ» органов быстрее любой машины, могущей быть в распоряжении Матуты.

Коява так и сделал, но скоро понял, что ошибся в расчетах. Понял, когда служебный «ЗИМ» стал нагонять преступный «Москвич» именно на маяцкой дороге. Недаром Коява говаривал, что, когда перед бандитом три пути, вычислить нетрудно, какой он изберет, гораздо сложнее, когда путей только два.

Беглец его сразу заметил в зеркальце: к тому времени на наших машинах уже разрезались зеркальца, и беглецам не приходилось поминутно оглядываться. Так что Матута, когда выстрелом проколол Коявины шины, сумел оторваться настолько, что успел пересечь из «Москвича» с неполным баком бензина в ждавшую его у дороги «Победу» с полным баком, тогда как «ЗИМ» отстал так сильно, что стал догонять «Победу» только на самом конце серпантина Тещин язык, а это Кояве стоило нервов, так что когда Матута выстрелом проколол ему шины, то оторвался настолько, что успел пересечь в ждавшую его у дороги «Волгу» с полным баком, и пока смертельно усталый Коява пересаживался из второго служебного «ЗИМа» в третий служебный «ЗИМ», прошло столько времени, что он опять отстал и начал настигать беглеца только на Ачандарском повороте, но в этом деле органам тоже надо такие нервы иметь, что Матута, когда выстрелом проколол ему шины, совершенно оторвался, да больше и не было у органов служебного «ЗИМа» в то время, так что беглец ушел в горы.

Почти месяц Матута скрывался в горах. Он обрел тут покой. Почти месяц Матута сидел у костра и жарил сердце и печень подстреленного тура. И звезды, такие же, как при предках его, первом охотнике Хатте из рода Хаттов и скитальце-рыцаре Акун-Ипе, сияли над ним, когда он поднимал к небу свои разбойничьи глаза.

Обрел покой Матута и расслабился, но Коява и тут его выследил и, мало того, так бесшумно подкрался, что даже чуткий абрек не учуял органы, пока тот не подошел к нему почти на расстояние выстрела. Но выстрелы не нарушили безмолвия страны гор. «Хоть ты и органы, Коява, но в тебе течет кровь абрека и я тебя уважаю, — сказал Матута. — Я поеду с тобой, и ты получишь майора». Они вместе спокойно сели у костра, доели сердце и печень тура и стали спускаться с гор. По пути органы и абрек заночевали у свана Баталбея, который спать Матуту уложил, как абрека, на лучшей постели в зале, а Кояву, как органы, на лучшей постели, но на улице. «Мне не обидно, дорогой Баталбей, что ты меня, как органы, укладываешь спать вне дома, но я же должен быть рядом с арестантом, — возразил ему Коява про себя. Но Матута и не думал убежать. И совершил-то он побег только когда его доставили в Тифлис, который Кояве не подчинялся, и за тамошний побег Коява майора не терял.

— Выпьем за Матуту, внука Хатта Савлака!

Матута тем временем ехал из деревни по трассе в самом хорошем расположении духа. Посещение деревни, встреча с красивой девушкой у колодца

и безоблачный огромный закат, мчавшийся перед ним на такой же скорости, что и его «мерседес» — все это приятно взволновало его и шевельнуло в душе легкую тоску по покою и тихим радостям. И эта тоска воплотилась в конкретную мысль. Он решил основать тут цех по пошиву импортных пиджаков, чтобы быть поближе к деревне. Куски кожи можно получать из нальчикского завода искусственной кожи, надо достать еще ярлыки «Оберон» и станки «Оливетти». Финансы на себя возьмет его выдвиженец Иосиф, пробивать дело в министерстве и райисполкоме будет другой его выдвиженец Геронтий, а он, Матута, будет охранять новое предприятие от посягательства других жиганов, если таковые найдутся.

О надочажных цепях

В пацхе у дымного очага обо всем этом не подозревали. Дым особенно льнул к девушке, которая сидела рядом с прявшей тетушкой и держала синий клубок. Полдюжины самых необходимых тостов были мужчинами уже произнесены. Они были довольны, и женщины были довольны, что гостям уютно и хорошо. Под древнюю возню сверчка каждый говорил так, как любил говорить.

Старик рассказывал свои крамольные истории: что Хатт Савлак был истинным сыном гор, но что он не вернул украденного коня, и что потерпевший пустил в ход фараджистанский пистолет, и что поэтому того не допустили на похороны. Платон слушал и бормотал что-то сумрачно-нравоучительно-бессвязное. Дело в том, что Платон когда-то был не прочь поохотиться с арканом на чужих жеребцов, а на старости лет рассказывать об этом так же громогласно, как это делал сейчас самый почтенный старик деревни. Но Батал занимался этим до советской власти, когда это было удальством, а на долю Платона пришлось сегодняшнее время, и даже жена в первую же ночь, вообще...

— Ацыкь! Ацыкь! — восклицал старик звонким своим голосом, вспоминая, как стреляли лихие люди его времен. — Клянусь вот этой надочажной цепью!

Платон бормотал. Кесоу бросал украдкой, так же, как и Могель, взгляды на держательницу клубка.

Дочь старика, раз узнав, что в родной деревне Могеля у нее есть свойственница, в основном обращалась к нему.

— Что говорят, что говорят-то, чтобы побрить мне голову! — сказала она ему. — Завтра утром дракон поглотит солнце, и будет полное затмение. Мне об этом как раз говорила Екатерина из Великого Дуба. Ты, Могель, сынок, знаешь, какая она швея! В шесть утра — полнейшее затмение!

Весть о примечательном астрономическом событии на абхазов не произвела впечатления.

— Человек должен знать, что будет с солнцем, — вежливо сказал Платон. — Слава Богу, в светлое время живем!

— Знаю я, мне дядя Платон все объяснил, — воскликнул Кесоу.

Платон насупился. Говорить племяннику о затмении он не говорил, сам усылхал от старухи только что, но и возражать было бы нелепо.

— Ой-ой-ой! — продолжала старушка, любуясь вибрирующим в ее руках веретенном. — Полное затмение — и ужас, что будут делать жабы! Мне Екатерина говорила, а ты, Могель, знаешь, как она шьет и какая у нее иголка! Жабы могут выдоить всех наших коров и, и те, бедные, околеют!

— Жабы околеют, тетушка? — спросил невпопад Могель.

— Если бы жабы! — вздохнула старушка. — Коровы погибнут от нечистой силы, если не подоим их раньше затмения!

Раскачиваясь из стороны в сторону, она умудрялась держать ровно веретено в вытянутой руке.

Пришел черед Платона, почти старика, поведать тоже какую-нибудь быль. Это Баталу можно было рассказывать о чем угодно — от походов князя Савлака до приключений его внука, городского абрека Матуты. Его старость, мудрость и авторитет были вне сомнения. Постоянно выглядеть старцем и народным судьей у него так же не было нужды, как ежедневно облачаться в черкеску и опоясываться кинжалом. Он это делал только в торжественные дни и в дни суда. Что же до Платона, ему как раз таки надо было самоутвердиться. Сейчас, когда выдался случай рассказать старинную быль, делать это следовало степенно, с должным благоговением к истории, как подобает старику. Саму быль он знал: его натаскал племянник во время перекуров на рубке дров.

— Дорогой Батал, я не берусь рассказывать что-то новое для тебя. Ты эту быль еще раз вспомнишь. Говорят же мудрые: повторение не повредит. А вот молодежь пусть послушает! — великолепно начал Платон и получил от старика полное одобрение: тот удобнее оперся об посох и сел вполоборота к очагу, вполоборота к рассказчику.

— *Однажды в древности, вообще, дад, народ проснулся и увидел следы девичьих ног на свежем снегу. Следы эти вели с гор к Омуту.*

Все пошло отлично. Платон рассказывал слово в слово. Тон он выдерживал по отношению к были — строгий, по отношению к вниманию старшего — уважительный. Батал внимал. Кесоу расслабился. Когда актер на подъеме, а у зрителей катарсис, суфлеру можно покурить.

— Витязь Хатт из рода Хаттов возвращался домой из далеких странствий, куда он отправлялся в поисках славы. Витязь Хатт, учивший народ, что вода — душа, а душа — вода. Он, что добыл из молнии огонь и дал людям *Золотое Колесо...*

Кесоу успокоился и курил, то есть тайком любовался держательницей клубка, не опасаясь быть замеченным, потому что все увлеклись рассказом. Только она, казалось, увлечена была не байкой Платона, а синим клубком. Румянец играл на желанной ее щеке. Ей надо было лишь свободно держать клубок в своих ручонках, чтобы нитка медленно отматывалась к тетушкиному веретену. И только. Это было нехитрым делом. Кошка разнежилась у очага и поглядывала, не теряя надежды на то, что девушка клубок отложит. Тогда почему она так сосредоточенно уставилась на свой клубок? Тогда почему она ни разу не подняла головы? Даже на рассказчика исподлобья не брызнула синевой своих глаз! Значит, чувствует, плутовка, взгляд Кесоу на себе!

Но перекур пришлось прервать. Платон вдруг ка-ак выскочит из сказовой борозды, ка-ак поведет прямую речь, да еще непосредственно обращаясь к Баталу:

— Я не признаю, вообще, дад, дорогой Батал, когда недобросовестно мотыжат лен, не пропалывая сорной травы! Не мне тебя учить, дорогой Батал, но повторение не повредит: *добросовестность — это состояние человека, никогда не выпускающего из поля зрения Золотую Пяту Господа...*

— Не сейчас это надо вставлять! — шепотом, но прокричал в ухо Платону племянник. — Ты рассказ двигай!

Было поздно. Платона уже невозможно было вернуть в колею. Я так считаю, я так понимаю, вообще, дад, понес он, не в силах остановиться. Его бы одернуть, но как это сделать незаметно? А тут еще афоризм, предполагавшийся совершенно в другом месте! Старик живо отреагировал на него. Он поднял на рассказчика когда-то синие, но выцветшие с годами до серости глаза, — и успех окрылил Платона, вскружил голову. Забыв Хатта, тревож-

но глядящего в небо, заполненное вороньем, он перешел на прямую мудрость. Платон подвергся искушению, которого не избежали и более мудрые люди. Даже поздний Лев Толстой перешел на скучное морализаторство, поверив, что мир внимал не его чувственному рассказу, а мудрости. Платон, как и поздний Толстой, забыл сейчас то, из-за чего Паха, который обязательно появится в нашем рассказе, иногда бывал снисходителен к отсутствию трудолюбия у своих сыновей: только то увлекательно, в чем заключена игра. Но об этом ниже.

Платон заумничал. Батал поскущел. Надо было скорей водворять его в колею. Кесоу облек свою подсказку в форму вежливого вопроса. Когда сказителя вежливо просят пояснить, это свидетельство успеха.

— Как же звали тех, кто не пропалывал сорной травы, дядя? — спросил любознательный юноша.

И Платон возьми и забудь, как звали негодяев, что не пропалывали лен и ломали виноградные лозы!

— Как их звали-то? — замешкался он и не успел племянник подсказать, как вылетело: — *Дзондзами* звали!

И только потом вспомнил, что это не то слово. Но это слово-нахал уже было произнесено!

— Что это за «дзондз», который ты уже дважды употребляешь? — спросил Батал.

Свершилось. Слово пустило самые глубокие корни в абхазскую речь, словно женилось на вдове и получило участок.

Могель попросил слова и встал. Все встали. Попытки Могеля усадить хотя бы старика не имели успеха. Потому он решил быть кратким. Он был полон уважения и благодарности к этим людям, и держательница клубка тоже ощущалась рядом. Могель провозгласил здравицу за великую дружбу, — нет! братство! только братство! — между великими грузинским и абхазским народами, у которых общая, оваянная веками история и между которыми враги тщетно пытаются вбить клин.

— Клинья, дядя! — воскликнул вдруг Кесоу. — Клинья же мы оставили в лесу!

В голосе его была скорее деланная тревога. Дядя почесал затылок, но потом пробормотал:

— Не мешай умному парню! Клинья найдем утром. Никто их не возьмет.

Могель привел несколько исторических примеров и продекламировал стихи о лозе братства, опутавшей ствол дерева о двух ветвях. Из всего этого слушатели заключили, что он парень грамотный.

Друзья повеселели. Сумрачная речь Платона достигла абсолютной абстракции, и это было уже нравоучение без слов; речь Кесоу же представляла собой свободный полет вдохновенной презрительности, а язык его намеков был незол, как язык вина, лившегося из кувшинов в пиалы, тогда как все лихие горцы и похитители, все отверженные и недопущенные на похороны открыли в рассказе старого Батала невообразимую пальбу.

— Ацыкь! Ацыкь! Меток был покойный Савлак, клянусь кузней!

— Не должен мужчина, вообще... Не признаю я...

— У дяди это — пережитое... Дядя прав!

А когда встали из-за стола и вышли на улицу, еще с полчаса прощались и благодарили хозяйку за хлеб и соль.

— Коров до затмения подоите, родные, — напонила она им на прощание.

О звездопаде

Могеля забирал на ночлег Платон. Парень еще раз вспомнил про своих птиц, но понадеялся, что умная собака все сделает, как надо. Когда вышли на проселочную дорогу, старик звонким голосом прокричал, чтобы они добирались до дому спокойно и умно. Платон жил рядом, его забор начинался сразу за кукурузным полем, принадлежавшем старику, только, чтобы не идти по росе, надо было сделать небольшой крюк; Кесоу — двумя усадьбами дальше. Но они поблагодарили старика и пообещали, что будут благоразумными.

— Настоящий абхазский старец! — восторженно произнес Могель.

— Отличный старик, — подтвердил Кесоу.

— Твой дед был не хуже, своим трудом жил, — наставительно, но без горячности напомнил племяннику Платон.

— Да, Ламшац был старик что надо! — согласился Кесоу.

— Тебе не положено произносить имя своего покойного деда, — заметил ему дядя, на что Кесоу миролюбиво согласился: — Прости, дядя, выпил я лишнего!

— Что, бичо? Почему нельзя? — спросил Могель у Кесоу.

Его интересовало все.

— Этнография, — коротко ответил Кесоу. Дядя покосился при этом слове, он не знал его значения.

Шли медленно и молчали. Было тихо, только скрипела арба и жевали буйволы. Стояла одна из тех южных ночей, когда, вглядываясь в небо, усеянное такими близкими, цветущими звездами, хочется верить не в лирическое — не в то, что над нами много планет и солнц, — а в старый ясный эпос: единая земля стоит на роге быка и звездное небо — опрокинутый чан, каким оно и видится, а на краю земли, откуда через золотые ворота первый охотник Хатт из рода Хаттов проник в ночные чертоги солнца, — там стоит олень, один рог которого врос в землю, другой — в небо.

— Самая пора с арканом за семь рек! — воскликнул Кесоу.

Могель не понял, что это значит. Зато отлично понял Платон: это значило, что самая пора выходить конокраду на дело. Он невольно вообразил себе опушку леса, выглядывающую из опушки потаенную поляну, где одинокое дерево, а под ним табун, а из табуна высвечивает желанный жеребец, а тут сверчки, а на сердце тревожно!.. Да что уж говорить, зря сердце растревлять!.. но чу! Платон нахмурился. И забормотал: что это племянник все подначивает его?! Да я его сейчас отчитаю за то, что при постороннем такие речи ведет!..

— Мы на это не способны, — продолжал Кесоу. — А Батал в свое время был джигит что надо.

Платон опять запутался.

— Наш отец был труженик! — гордо пробормотал он.

— Дядя, — заговорил Кесоу с подозрительным волнением в голосе. — А дед наш в быту был строгий, не так ли?

— Во всем, что касается обычаев, покойный бывал строг, вообще, — насторожился Платон.

— И вам, сыновьям, заказано было сидеть с ним за одним столом?

— А как можно сидеть за одним столом со старшим? Разве правильно это? — Платон успокоился и вернулся к сумрачно-нравоучительному тону.

— Младшим в нашей семье ставили отдельный стол.

— И ни разу — ни разу! — так и не пришлось тебе сидеть и обедать с нашим дедом! — воскликнул Кесоу с грустью в голосе.

Платон задумался. Потом произнес:

— В последние годы перед кончиной твой дед как-то сказал мне и твое-

му отцу: «Сыновья мои, дад, пока нет никого постороннего, поужинаем по-семейному; садитесь со мною за стол, хочу выпить с вами стакан; уж не жить мне долго».

Голос его дрожал от волнения, хотя он и играл, конечно. Волнение, вызванное святостью воспоминаний, — это необходимо. Образу старца не соответствовало только то, что шаг у него был нетвердый. Это было тем более очевидно, чем более Платон старался шагать ровнее.

— И где сидел наш дед? — благоговейно допрашивал Кесоу.

— Ты же знаешь наш большой дубовый стол на кухне. Он сидел, отец наш, белый-белый, как ангел, в голове стола.

— А вы с отцом?

— Зачем тебе все это? — насторожился было Платон, но племянник его успокоил:

— Хочу себе представить картину. Ты же знаешь, дядя, какой я дотошный.

— Да, ты — дотошный, — успокоился дядя. — Это наше фамильное, мы — пытливые. Да. Отца твоего он посадил одесную. А я все же застенчивая и сел на самом краю.

Рассказывая, Платон смешно разводил руками, словно мысленно поправлял стулья под сидевшими за тем столом.

— А как он ел, светлой памяти наш дед?

— Как он мог есть? Что за вопрос?

— Неужто ты это не запомнил, дядя!

— Я все помню. Что ты имеешь в виду?

— Наверное, быстро-быстро ел, двумя руками, чтобы поскорее насытиться и бежать в поле?

Вообще! Платон был возмущен. Что ты сделаешь с этим пострелом! Изощренно подначивает, подкалывает — и все тут! Другие возвеличивают своих старших, а эти — что братнины сынки, что мои! — клокотал он от обиды. Он даже ни слова не произнес в возражение. Еще мингрельского парня стыдился, что все это при нем. Отец был действительно жаден до полевых работ, но об этом и так все говорят, зачем мы новыми анекдотами еще больше способствуем, вообще! — немотствовал он сумрачно.

Кесоу взял под руку Могеля.

— Станный у нас род! — воскликнул он. — Все труды и усилия наших мужчин уходят, словно в песок.

«Это верно, но предыдущее зачем?» — немотствовал Платон.

— Вот дядя, вот этот! — продолжал Кесоу. — На войне кто языка взял по приказу генерала Дрозда? Дядя Платон. В Гданьск кто первым вошел? Полк дяди Платона. Героя Союза дали? Жди! Кто с гектара сто тонн базилика и герани вырастил и сдал государству? — это было сказано наугад, и цифра была фантастическая, но Платон сумрачно смолчал, а Могель не разбирался в геранях и не заметил. — Кто изобрел землекопалку и в хозяйство внедрил? Дядя Платон. А Героя Соцтруда дали? Черта с два!

Платон окончательно успокоился, отдаваясь благодушному настроению, которое предоставлял ему кайф от выпитого. Он только блаженно сопел в нос и бормотал про себя. Дома его ждала еще незначительная разборка с женой.

Остановились перед железными воротами усадьбы, окруженной железной сеткой забора, что делало ее, увы, не такой уютной, как жилище старого Батала, несмотря на то, что в глубине возвышался добротный двухэтажный дом, да еще с длинной, тоже капитальной пристройкой — вместо пацхи-хижины. К дому вела такая же ровная и широкая, как у старика, лужайка. Здесь и жил Платон. Он остановил буйволов и напомнил, что гостя, то есть Могеля, возьмет к себе.

— Что-о? — попытался протестовать Кесоу, но дядя его тут же урезонил:

— Сначала ты женись, чтобы было кому готовить угощение гостю!

Кесоу опустил голову. Ему нечем было возразить. Именно сегодня, как никогда, он был согласен с мыслью о женитьбе. Но, смущаясь, он не забыл подчеркнуть внешним видом, что причина его смущения — неловкость перед дядей, почти старцем.

— Неплохой ты старик, дядя, но не удастся никому меня напугать! — добавил он умиленно.

Это вполне устраивало Платона.

— Ты не из тех, Кесоу, кого я не признаю за мужчин, вообще! — сказал он. И они расстались.

Платон повел арбу во двор. Когда он, кашлянув, открыл дверь пристройки, жена, возившаяся у газовой плиты, тут же сказала, не замечая еще Могеля:

— Ты вспомни, до чего довела пьянка доктора Гвазава!

— Не признаю, когда женщина рассуждает, а никто тут не пьян, — сумрачно изрек Платон. — Гость у нас.

Жена его вытерла руки о фартук. Потом подошла к Могелю и прикоснулась губами к его плечу. Потом перекинулась с мужем парой слов на языке. Могель догадался, что Платон распоряжается отложить ритуальное угощение гостя на завтрашнее утро.

О думах во время бессонницы

Кесоу был молод и одинок. Ему некуда было спешить. Свернув с проселочной дороги, он углубился в ольшаник. Ливень нагнал его. Кесоу оскалился.

Дождь издал лишь легкий шорох в листьях и быстро промелькнул, как конокрад. Его несло неведомо откуда, а чан неба был по-прежнему безоблачным.

Ливень ушел, и снова появились светляки. На ближних болотах пели сверчки, уже полевые. Кесоу не спешил домой. Он вышел из ольшаника и снова оказался на той же проселочной дороге. Он бы зашел к Платону, чтобы если не смочь рассказать ему о том, что сейчас его переполняло, то по крайней мере вылить на него ушат презрительного шипения. Но его приятель-дядя уже, наверное, лег спать, отложив угощение мингрельского гостя на утро, о чем парень догадался, не увидев у Платона света и бессознательно шагая дальше, по пути, по которому они только что прошли.

Кесоу был почти молод и почти одинок. Поравнявшись с уютным двориком, он подумал грешным делом: не перемахнуть ли через изгородь, не запрыгнуть ли и не заглянуть ли в окно, чтобы увидеть на миг, как спит держательница клубка с лучистым взглядом? Но ведь она совсем девчонка, устыдился он своих мыслей, хотя помнил, что сказано стариками: если кинуть в девушку папахой и она от этой тяжести не упадет, то девушку можно выдавать замуж. Только нельзя мне позволять себе такую вольность в доме почтенного старца! А похитить ее и увезти в горную деревушку? Нельзя сейчас, когда основные мужчины, и ее отец в том числе, находятся вдали, на летних пастбищах; получится, словно момент улучил. О лучистые глаза! Лучистые глаза над серебрищимся у огня клубком! Вы — алтарь, на котором я готов сжечь постылую свободу!.. Идти же домой и ложиться в одинокую постель? — нет уж, лучше побродить.

Платон, расположившись с женой валетом на широком ложе, приготовился спать, но сон не шел. Он лежал, завидуя ленивой завистью лихим людям, рыскающим с арканами по пастбищным лугам. Жена спала, чтобы быть готовой к предстоящему завтра трудовому дню. Платон, достаточно старый, чтобы быть старейшиной села, вспоминал молодость.

Когда Платон женился, свадьба, как водилось у них, у кулаков, продолжалась целую неделю. Первым не выдержал отец Платона: он сбежал в поле собирать кукурузные кочерыжки, и его насилу притащили назад, к пиршественному столу. Это племянник сочиняет, вообще, как мог почтенный старик сбежать от собственных гостей, он просто хотел часик поразмяться и вернуться к столу и гостям, которых очень любил. А что касается жениха, он, как положено по обычаю, не только не мог сидеть со всеми за столом, но должен был прятаться, чтобы не попадаться старшим на глаза.

Платон смог войти в светлицу к невесте на восьмой вечер. На восьмой вечер, читатели! Не на второй, не на третий, и даже не на седьмой. Кто не мечтал жениться на лучшей в округе девице, за которой гарцевало так много джигитов, что от их самоутверждения в армянских и греческих деревнях тревожно запирали конюшни, — тот нас не поймет. И вот: наконец ее вырвали, и вот: она дома, а мы у него пируем неделю напролет, а он, по обычаю, прячется вдоль по околице! Первые три вечера Платон сам не показывался ни в доме, ни на широком отцовском дворе, где под навесами пировали гости, сменяя друг друга. А на четвертый вечер, как стемнело, Платон, сумрачно бормоча, что довольно уже, вообще, попытался пробраться в спальные покои для молодых, но приятели его подкараулили и стали стрелять в воздух: он получал право пировать с ними в собственном доме! И так еще несколько вечеров подряд.

Когда же наконец свершилось это, Платон недолго любовался заснувшей в его объятиях женой: он встал и начал одеваться. Она проснулась. Широко раскрытые глаза ее смотрели на жениха вопросительно и строго.

— Лучшего скакуна уведу я в твою честь! — прошептал он гордо.

Она молчала, но в ее молчании была требовательность, была мольба. Платон пока еще ничего не мог понять: как положено джигиту, он после полуночи отправляется уводить скакунов; что же смущает ту, ради которой это делается? Она вроде бы не похожа на тех, кто пытается удержать мужа около подола!

Он отложил аркан и присел на край ложа.

— Я не смогу есть хлеб со скотокрадом! — после долгой паузы, внятно произнесла она.

— Вообще, — смутился Платон.

Перебарывая себя, — потому что скромнице стыдно было разговаривать с мужем даже наедине, ей казалось, что кто-то это может увидеть! — она взяла его руку, делая это как-то тайком, и, застенчиво глядя в сторону, произнесла:

— Дай мне слово, что будешь стахановцем!

Вообще!

— Ты можешь это!.. Ты все можешь: ты самый-самый!

И даже добавила: у меня!

«Ты — самый-самый у меня!» — вот как она сказала.

И что ты будешь делать, читатель? Конокрадство стало лишь красивой мечтой. Много-много лет прошло. Платон уже уважаемый в деревне старец! Спи, Платон, и о лихих делах думать не смей! У других жены такие понятливые и патриархальные! Или думаешь ты, читатель, что алчен Платон? Что не хватает у него собственного табуна? Что ему непременно чужих лошадей подавай?! Он же потому хотел увести скакуна, чтобы жена еще больше гордилась им, вообще! Стахановцем-то он стал, как этого она хотела, но счастья нет. Как у человека, который мечтал быть одним, да стал другим. Кто-то, допустим, мечтал быть артистом, пусть нищим, но артистом, в театре, а стал дельцом, раскрутился, но нравственного удовлетворения нет, — и приходится воровать еще больше! Так Платон и постарел с мечтой о конокрадстве... светлой мечтой. Разве что, как этой ночью, взгрустнется порой.

— Если бы мужчина изначально был таким, в кого его переделывает жена, разве бы она вышла за него!

Жениха подавай ей лихого, а мужа — стахановца.

Платон нащупал руку жены и погладил ее своей мозолистой ладонью. Она во сне улыбнулась, однако руку решительно отодвинула: завтра предстоял трудовой день, надо было отдохнуть!

Сегодняшняя ночь для всех была бессонной. Так, наверное, бывает в ночь перед солнечным затмением. Духи, что вселяются в жаб и выдаивают молоко коров, — что им стоит доброго человека лишить сна! Могель тоже не спал и все ворочался в постели. Как там собака, справилась ли она с птицами? Найдет ли он ее завтра или найдет ли она его? Хотя понимал, что Мазакуаль прекрасно справится с птицами, а завтра же утром сама хозяйина отыщет — и не потому ему не спится. А гостеприимные хозяева — не проспят ли они затмения? А вдруг жабы выдоют их коров?

И опять сознавал хитрый Могель, что не это причина странного волнения, его охватившего. Вот этого мне сейчас не хватало, встревожился он. Сегодня, когда в недавно опубликованном манифесте борьбы с сепаратистами даны четкие раскладки, какими надо быть и что надо делать грузинским патриотам, ибо, вдохновленные Центром, абхазские сепаратисты перешли на открытое кланье зубов, — он, Могель, вдруг ослеплен страстью к абхазке, как сентябрьская перепелка — фонарем!

Но и эти доводы были ничтожны в сравнении с тем, что плескалось и переливалось в душе одинокого меджнуна! Увижу ли я завтра эту абхазку? Не сказать ли поутру дяде Платону, будто что-то забыл у старика? Но что? Будем надеяться, что с рассветом явится собака и придумает какую-нибудь хитрость. Но далек был рассвет, и время не шло.

«Все умеет по дому, ты ее полюбишь, моя мать», — чуть не вслух запел Могель.

О тайнах ночи

Пройдя лесом, Кесоу вышел к железнодорожной насыпи повыше платформы. Тут он мигом преобразился, как бы перешел на нелегальное положение, и, когда, пригнувшись, перескакивал насыпь, только тень его успела промелькнуть. Нырнул в заросли, прошел еще немного, отлично ориентируясь в темноте, и нашел тех, кого искал. Там притаились Ника, сын последнего Хатта, и его гость из райцентра Очамчиры. Почему Ника, какие победы он одержал, спросит читатель, если скромность не позволит задать первый, закономерный вопрос: почему этот Ника вместе с гостем прячется в зарослях вместо того, чтобы дома, в соответствии с обычаями, прилюдно угощать его индейкой и вином?

Сына последнего Хатта звали Никой потому, что он по паспорту был Николай, и ничего общего с греческой богиней не имело его блатное прозвище. Но парень он был необычный, как бы созданный самой природой бомбить товарные вагоны. Внешностью обладал он неопределенной, какою и должна быть внешность в темноте. Днем его почти никто не видел, пока не началась война. Он не бывал на людях и не ходил в школу. То есть где-то там, в каких-то интернатах он все-таки учился, но в родной деревне никуда не выходил. Выглядел он маленьким и щуплым, хотя был роста выше среднего и достаточно крепок при своей худобе. Казался уродливым, хотя лицо его было даже красиво, просто не рассчитано на рассеянное дневное освещение. Античное лицо: этаким античным уродцем, римский барчук периода вырождения. Более трех слов одновременно он не произносил, так что было неясно, обладает ли парень членораздельной речью. На самом деле знал все

языки, необходимые для воровской жизни: и мингрельский, и грузинский, и греческий, и армянский, даже цыганский и, конечно же, свой абхазский, не говоря уже о русском. Никто не слышал его голоса, потому что говорить ему приходилось только шепотом. Но и голос у него был... Однако мы увлеклись, не пропустить бы поезда!

Нет, товарняк пропустить мы не можем. Длинный состав, следовавший из Руси на Грузию, имел встречного в Очамчире. Он должен был стоять некоторое время. Если Ника мог открыть беззвучно любой вагон, Кесоу безошибочно знал, с сопровождением вагон или без, а также *сыпучка* в нем или *товар*. Товарняк остановился. Послали очамчирца на уточнение. Результат разведки лишь подтвердил то, что Кесоу знал: в большинстве вагонов была сыпучка, то есть или цемент, или минудобрения, на кар не нужные им, и еще в двух вагонах, где товар лежал, было сопровождение, а вот четвертый от локомотива можно было брать. Вагоны с охраной были далеко, но приятели перешли на еще более низкий шепот. Надо было действовать осторожно, воевать с охраной никто не собирался.

За зарослями была поляна, а за поляной Омут неподалеку от устья реки. Оттуда то и дело раздавался странный свист, но он не насторожил подельников. Только раз Ника, по своему обыкновению беззвучно хохоча, указал Кесоу в сторону Омута. Кесоу равнодушно обернулся туда и ухмыльнулся. Это свистела дура-русалка, купаясь в своем водоеме. Она надоела им своими ночными свистами. Даже Ника оставался к ней холоден, несмотря на то, что благодаря ей он бывал удачлив в охоте.

— Лишь бы Паха не обломал... В вагоне — туфли.

— «Цебо», я надеюсь?

Они почти не говорили, так тихо шептали в тишине. Кесоу напрягся. Засвистела русалка.

— Кажется да... Не могу точно разглядеть.

— «Цебо» Хачик спрашивал.

Тем временем очамчирский подал знак. Раздвигая заросли, Кесоу и Ника пошли по, точнее — над щебнем. Звезда сорвалась и полетела по отвесному небу. Из двух дальних вагонов, которые лишь наметанный взгляд мог отличить от тех, что везли сыпучку, как куколки из кокона, высветивалось вооруженное сопровождение. Звезда пересекла ковш Большой Медведицы и погасла. Друзья, не сговариваясь, загадали на падающую звезду, чтобы вагон вез обувь фирмы «Цебо». «Цебо» с руками и с ногами брали что Хачик, что барон Бомбора, что комсомольцы.

Ника прильнул к двери вагона. Было тихо. Необходимый минимум информации подельники сообщали друг другу, благоговейно блюдя тишину. Каждое движение, которое могло эту тишину спугнуть, однако, не спугивало, было подобно нежному прикосновению подушечек пальцев к ланитам возлюбленной. Именно нежно прикасаясь к металлу подушечками пальцев, как Владимир Горовиц к клавишам «стейнвея», Ника стал срывать, — нет, какое там срывать! это слишком резко сказано, — стал от-де-лять, от-колу-пывать пломбочку. Тишина. Массивная дверь, катясь на роликах, по всем законам физики должна была чуть-чуть заскрипеть, но ни чуть-чуть, ни вообще не заскрипела; Ника, чутким ухом прильнув к ней, отворил ее почти на полметра — и вот они там и вот они *оттуда сюда* приветливо заулыбались из глубы вагона, коробки с туфлями. Какой же фирмы? Тише!

И именно в этот момент вся эта благоговейная тишина была разбита в пух и прах и к ядреной бабушке! Паха пошел.

Совершенно не таясь, как средь бела дня, Паха шагал по самой середине дороги, ведущей к платформе, громыхая пустой тачкой. Ему был нужен цемент — и все тут! Он не только тачкой громыхал, он еще громко-громко

бранил своих двух сынков, которые шли с ним: и когда обгоняли — бранил, и когда отставали. Он шел не как на дело, а совершенно открыто, гордо и восторженно. Так шли в колхоз в первые годы коллективизации. Так возвращался с базара трудящийся Востока в первые годы советизации. Паха шел, чертыхаясь на детей и гремя по мостовой тележкой. Только бодрого восхода над пашней для полноты картины не хватало в этом шествии.

Буднично, словно дело это было такое, что законнее и быть не может, он подъехал к первому же вагону, как нарочно наиболее освещенному и, ругая детей, чтобы, лоботрясы, обормоты, не смели уходить, с грохотом заехал тачкой под вагон и, привычно орудуя ломом, сорвал с двери пломбу, и дверь — куда на кар денется — жалобно заскрипев, сдалась. Цемент густо хлынул оттуда, мигом накрыл тачку и продолжал сыпаться. Сопровождение этого не видеть и не слышать не могло; выйдя из оцепенения, в которое на минуту ввергла их эта форменная наглость, менты открыли автоматную стрельбу в воздух. Они знали Паху и убивать его не собирались, все мы люди, кто не понимает, что каждому надо жить. А задерживать Паху было бы бесчеловечно, потому как взять с него нечего, зря пропадет.

Паха буднично, лениво залег в канаву, браня детей и требуя, чтобы они проделали то же самое. Когда же поезд загрохотал и задрожал, приготовившись тронуться, из распаханного вагона сыпалось еще цементу, хотя Пахе больше не нужно было: ему хватало одной тачки. А за бортом оказалось сыпучки не меньше тонны. Завтра его разберут законопослушные колхозники, осуждая Паху.

Как Паха сразу подошел к вагону, который вез не товар, на кар ему не нужный, потому что он не преступник? Как узнал, где именно цемент, а не суперфосфат, например? Ему просто везло, как и в лотерее, о чем ниже. Ау, ядри его бабу, суперфосфат ведь тоже нужен ему. Оболтусы, лоботрясы, бездельники, хоть бы напомнили, заорал он на детей.

Паха обломал. Но он обламывал поделщиков не так часто, чтобы они могли рассердиться и что-то против него предпринять. Паха был сосед, свой человек. И где он еще взял бы цемента! У него семья, он дом строит, он дурачок, его все норовят только обмануть! Так что друзья лишь поворчали, вынимая из запасников свои голоса, потому что под стрекот автоматных очередей шептаться смысла не было.

Договорились встретиться к четырехчасовому ереванскому товарняку. К этому времени работягу Паху должен был сморить сон. А провожать глазами вагон с уже вскрытой дверью и с дразнящими коробками «Цебо» внутри у них не было ни сил, ни желания. И они разошлись кто куда, не досмотрев, удрал ли Паха с детьми, бросив тачку на потом, или остался смотреть из засады, как сопровождение справляется с дверью, которую он выломал.

Кесоу, оставив приятелей, вышел на дорогу и тут же перестал таиться, легализовался. Было около одиннадцати, и никому не могло показаться странным, что парень гуляет по родной деревне. Кесоу задумался: куда же пойти? До четырех утра было еще много времени, а чтобы убить время в деревне всегда выбор небогат. Пойти к турчанке около вокзала, в филиал Обезьянней академии или к актерам театра Ленинского комсомола.

О целесообразности подвига

Ничего себе: выбор мал! Ничего себе: деревня! — воскликнет иной читатель. Хочешь турчанку — пожалуйста, а не хочешь турчанки, на тебе обезьяний филиал, а нет — и того лучше: театр Ленкома! Все гораздо скромнее. Кесоу решил найти своего нового приятеля Лодкина, которого он устроил у

старушки-турчанки, чтобы Лодкин был от пляжа недалеко и к народу поближе. Скромный обезьяний филиал находился на берегу моря, а когда мы говорим : Ленком — это не означает, что сейчас читатели увидят самого Марка Захарова с пылающим партбилетом. Но Юнону они увидеть смогут, Юнону Павловну Петрушко-Дрозд. Потому что речь идет о ТЮЗе из Днепродзержинска.

Десяток артистов этого театра вместе со своим режиссером полный месяц отдыхали в деревне дикарем. Артисты сняли дом на самом берегу моря. Сегодня у них были проводы режиссера, вынужденного отъехать на неделю раньше. Лодкин сказал, что там будет весело, и звал Кесоу.

Справили отвальную как надо, с поросенком. Попрощавшись и попросив не нарушать застолья, режиссер только что ушел с провожавшим его начальством из местного министерства. Проводив его, вернулись к столу. Застолье продолжалось. Поросенок был съеден едва ли не наполовину. Гул стоял как в классе, когда посередине урока учитель выходит на несколько минут, попросив не шуметь. Близился к концу славный отдых, как и само лето. Однако в распоряжении друзей была еще целая неделя. Погода стояла отличная. Можно было целыми днями нежиться на песке, деля уединение лишь с коровками да с лошадками, изредка забредавшими на пустынный пляж. Дешевого, но доброго вина у хозяина было море разлитое, так же, как и пламенной фруктовой чачи. Так что тем, кто не захотел присоединиться к этим десяти, предпочтя помпезную Пицунду, еще предстояло им позавидовать, когда они узнают из рассказов об удавшемся отдыхе.

Весь вечер ребята забавлялись тем, что попеременно пародировали напыщенные тосты в стиле «Кавказской пленницы». Импровизации сыпались на представителей министерства, которые каждый раз были вынуждены отшучиваться, прежде чем произнести здравицу, которую они, как хозяева, не произнести не могли. Когда они удалились, шутки, освобожденные от цензуры, стали чаще и темпераментнее, почему довольно скоро приелись компании. Веселье уже миновало свой апогей, артисты подустали. К приходу Кесоу компания еще шумела, но уже непроизвольно начинала распадаться на группы.

Только Лодкин, притулившись в углу особняком, казалось, не замечал всеобщего веселья. Он весь ушел в свои думы, лишь изредка бросая украдкой взгляд своих печальных глаз в сторону Юноны Павловны, звонко хохотавшей в противоположном углу шуткам старого актера Крачковского. Сидел Лодкин, безучастный и отрешенный, вежливо отклоняя все призывы друзей присоединиться к их играм ума. Юнона внимала почтенному демиургу, но по еле заметному вздрагиванию желваков и румянцу на ланитах ее можно было догадаться, что знает красавица о тех коротких взглядах, которые посылал в ее сторону Лодкин время от времени. Лодкин был смущен. Он приехал сюда работать, каждый день у него был расписан по часам, с абхазским населением складывалось взаимопонимание, деревенский мудрец и авторитет Платон ему благоволил, а тут совершенно не к месту и не в пору влюбился Лодкин. Он влюбился в Юнону.

Щурясь от яркого света и табачного дыма, Кесоу направился к Лодкину. Тот приветствовал товарища, приглашая разделить с ним его уединение. Между тем с приходом новичка компания, распавшаяся было на группы, снова оживилась и стала объединяться. Сейчас новичка ждал розыгрыш. Как только юноша возьмет предложенную ему чарку, чтобы что-нибудь пробормотать и скорее выпить, все неожиданно замолкнут, все взгляды обратятся на него, и он, тем более о давешних шутках не ведающий, будет поставлен перед необходимостью сказать кавказский тост, — и чем серьезнее он будет говорить, тем забавнее будет тост звучать.

Так и сделали. Через минуту Кесоу держал чарку. С искренней миной, соорудить которую для актера — дело нехитрое, с разных сторон к нему обратились просьбы произнести тост. Кавказскому человеку это и Бог велел.

— Мы все, все вас просим, — сказала капризная Юнона.

Кесоу встал. Все замолчали.

— Есть в горах у меня знакомый чабан, — начал он.

Чабан, баран, шашлык, курдюк! Актеры сдерживали смех, чтобы не обидеть юношу: ведь он начал как раз с вычурного зачина, который весь вечер пародировался.

Но юноша тоже был хорош. Он все слышал, заходя, потому что умел шагать бесшумно и без следов. Ведете себя, господа, словно из театра человека с пылающим партбилетом, а режиссер-то ваш, я видел, как он улыбался, выходя, местному министерскому начальству, подумал он, будто по режиссеру можно судить о целом творческом коллективе, или кто-то улыбался министерскому начальству меньше человека с пылающим партбилетом. Вообще, как сказал бы Платон, устаешь от такого человека, как Кесоу. Но раз начали сцену с его участием, надо дорассказать.

— Есть у меня знакомый чабан, которому сто восемьдесят лет.

Сто восемьдесят лет. Известное кавказское долгожительство среди кунаков, кизячного дыма и саклей.

— ... который признался мне, — продолжал юноша, — что в его скромном балагане на Рице побывал выдающийся украинский советский актер Крачковский!

— Не только был, молодой человек, но и поднялся туда на велосипеде! — охотно отозвался демиург. — А мне уже стукнуло 84 года! — и уже готов был рассказать о замечательном путешествии к горному озеру, но, с одной стороны, местный парень произносил тост, а, с другой стороны, все ждали момента, когда первый не выдержит и рассмеется, давая карт-бланш остальным.

— Моего друга чабана, — продолжал парень.

Моего друга чабана!

— Моего друга, мудрого чабана очень растрогало ваше нежное отношение к животным.

— К баранам? — любопытствовал старый актер.

— Нет, к кошкам, — серьезно ответил Кесоу. — Чабан рассказывал мне, а я объяснил ему, что вы — лучший исполнитель роли Луначарского...

Это было правдой, хотя в свете нынешних преобразований правда эта уже звучала непростительно.

— Так что же рассказывал ваш чабан, — спросил старый актер, и вопрос этот прозвучал почти невежливо.

А Кесоу только этого и хотел. Загораете на морском шельфе, принадлежавшем моему деду, мне дядя Платон об этом говорил, что это так, и, сколько ни хожу мимо, ни разу я вас не пограбил, а вы, как я только шагнул через ваш порог, всем творческим коллективом кинулись меня подкалывать, подумал Кесоу.

— Мой друг-чабан рассказывал, что известный актер трогательно и ласково прижал к груди и целовал его кота, который перед этим поймал и съел семнадцать семь полевых мышей.

Актеры засмущались. Кто-то заплодировал. Это тоже было невежливо, но уже по отношению к Крачковскому. Кто-то похлопал Кесоу по плечу. Стало ясно, что он их переиграл. Что он не такой простак, каким его представляли.

— Друзья, позвольте представить вам моего друга Кесоу! — встал и произнес Лодкин. — Он поэт и студент Литинститута.

Кесоу представился именно так при знакомстве с ним.

Тут компания опять распалась. Разбитой и со столичным нахальством, абориген уже был менее интересен. И сам Кесоу подумал, что мог обидеть почтенного демиурга. Тот действительно приуныл и уже не развлекал Юнону. Кесоу, вежливо попросив разрешения, подсел к ним, осведомился, не обидели ли он глубоко уважаемого им человека, вспомнил еще несколько его ролей, о которых третьего дня рассказала Юнона, и наконец помирился с ним. Но тут Юнона начала с ним заигрывать, плутовка, что заставило Лодкина еще больше загрустить. А четыре часа были еще далеко. Кесоу налег на вино.

Но все же расстались друзьями. Лодкин вышел проводить Кесоу, но у ворот тот стал отговаривать приятеля от поздней прогулки. Время уже позднее, да и сыро, сказал он другу. Но Лодкин настаивал на прогулке, потому что перед этим в темноту нырнула Юнона Павловна. Она любила ночные купания. Он хотел ее найти на пляже. А Кесоу подумал: ладно, пусть будет лишний свидетель возмездия, которому дано свершиться в эту ночь! Захмелев от выпитого и имея до четырех часов еще время, Кесоу решил сегодня же проучить обезьяну Спартак.

В филиале Обезьянней академии, который располагался тут же, на берегу моря, шимпанзе Спартак использовался как самец-провокатор. Что в научном институте в Сухуме, смешно прозванной в народе Обезьянней академией, обезьяны использовались в качестве подопытных животных и их заражали различными вирусами, искусственно вызывая в человекообразных существах различные человеческие недуги от венерических болезней до онкологических — это по крайней мере в Абхазии ни для кого не было секретом. Хатт Матута даже как-то *приписал деньги* с директора института академика Массикота, но потом его попросили больше не повторять этого, потому что почтенный академик обещал построить для Хаттрипша Дворец культуры. Но особенно возмутительно было то, чем занимались в этом самом филиале. Тут на примере обезьян изучался инфаркт миокарда в его различных проявлениях. Шимпанзе — наиболее близкие к человеку приматы. Они — однолюбы и моногамы. То есть у каждого самца есть своя самка, одна на всю жизнь. Пары проживают вместе в отдельных вольерах. Стоит ли говорить, что строение сердца у шимпанзе аналогично строению человеческого сердца.

И вот ученые создавали ситуацию, при которой примат искусственно доводился до инфаркта. Это называлось *квази-адюльтеро-эффект*. Для этого самку отнимали у самца и закидывали в вольер к Спартаку. Самец оставался рядом, в прозрачном вольере. Самца хватал инфаркт, и его тут же уносили в лабораторную палату.

Все работы обезьяннего института проводились совместно с коллегами из какого-то американского университета. Там, в Америке, опыты над животными, тем более приматами, запрещены их законами, поэтому янки служили науке, проводя выездные исследования.

Но сегодня пришел день возмездия! Точнее, ночь...

История возмутила Лодкина. Он обещал Кесоу по прибытии в столицу рассказать о ней другу-журналисту, известному своими газетными разоблачениями. Его напугала решительность приятеля устроить над самцом-провокатором самосуд и немедленно. А приятель уже срезал и готовил сук, как Мцыри. Шимпанзе — сильные и ловкие животные, пояснял он, заостряя рогатые концы сука ножом. Кесоу рассказал о фильме про каратэ, где сенсей, чтобы высмотреть у шимпанзе прием маваша, сажает ее в клетку с коброй. Обезьяна сначала пытается убежать, но, поняв, что заперта и может рассчитывать лишь на себя, принимает бой и побеждает, используя прием, который и выследил сенсей, чтобы сделать свою школу чито-рю еще более могущественной.

Так, разглагольствуя, он изготовил рогатку с заостренными концами. Филиал становился все ближе.

— Вот он, негодяй! Сейчас он у меня получит за поругание чужих жен! — уже указывал на вольер в дальнем углу хладнокровный дикарь.

Никакого желания ни принимать участие в этом опасном, вместе с тем сомнительном бою, ни быть ему свидетелем Лодкин не имел. Он поежился от сырости и начал отставать. Он попросту не прибавил шага, когда Кесоу заторопился. Он еще раз попытался остановить парня, окликнул его, но тот его уже не слышал.

Жаль зайца, которого выследил парящий в вышине орел. Но жаль и орла, если он, вдруг залюбовавшись красотами, открывающимися ему с высоты его парения, упустит завтрак.

Но тут внимание Лодкина было отвлечено зрелищем, которое заставило его оставить Кесоу и свои думы.

Обнаженная Юнона, распустив свои пышные волосы, стояла на берегу Мутного Омута. Ее лишенный загара зад призывно фосфоресцировал в темноте.

Лодкин поспешил к актрисе. Но, добежав до Омута, остановился в недоумении. Станным образом купальщицы след простыл. Лодкин остался стоять над Омутотом, забыв про готовящийся бой и полный ревности и страсти.

Ибо той, чей зад в неверных тенях ночи он принял за родной Юнонин, была русалка. Заметив мужчину, да еще и не язычника, который направлялся к Омуту с самыми решительными намерениями, так что космы его так и разметались на бегу, она забыла в панике о своих чарах и спряталась в самую гущу прибрежного ивняка.

Кесоу приближался к вольеру Спартака, как Мцыри к барсу.

Могучий барс. Сырую кость / Он грыз и весело визжал; / То взор кровавый устремлял / Мотая ласково хвостом, / На полный месяц, — и на нем / Шерсть отливалась серебром. / Я ждал, схватив рогатый сук, / Минуту битвы; сердце вдруг / Зажглось жаждою борьбы...

...в преддверии подвига, который не всегда целесообразен.

Мы не меньше сочувствуем животному, чем Лодкин, но правильно ли отворачиваться от того, чего предотвратить не можем?.. И все-таки описывать славный бой не станем, опасаясь экологов, просто скажем, что Спартак остался жив, а жестоким результатом боя стало то, что он больше не сможет быть самцом-провокатором, хотя и просто самцом тоже быть не сможет. Кесоу победил.

А теперь о целесообразности подвига.

Орел, залюбовавшийся красотами, не поймает зайца. Но именно заяц в неподвижном ландшафте интересовал орла в это утро. Однако хищник рисковал потерять добычу, потому что на плато Золотой Огонь вдруг появился не менее зоркий, не менее отважный и не менее ловкий охотник — Акун-Ипа Хатт Савлак. Он искал туров, а не зайцев, но и такую добычу вряд ли бы упустил.

Тем не менее, орел все же удалился с вожаком зайцем в когтях, потому что в следующий миг внимание охотника отвлекла картина, возмущившая все существо рыцаря. Он заметил женщину всех достоинств юности и красоты в плену у отвратительного медведя.

Прежде, встретившись с косяком, охотник любил померяться с ним силою и вступал в рукопашную. Но сейчас он был настолько возмущен, что не выдержал и издала поразил стрелой гнусного насильника. Теперь ему предстояло самое неприятное: выслушивать благодарность спасенной девы.

А дева распустила волосы, подняла к небу руки и воскликнула:

— Будь проклят Акун-Ипа, ты же сделал меня вдовой!

О чадолюбии

Паха, хоть и называл сыновей лодырями и лоботрясами, таковыми их не считал. Чем ему особенно могли помочь сосунки, если одному одиннадцать лет, а другому семь. Просто ему хотелось с детства приучить их к труду, чтобы знали, что жизнь — штука непростая. Шел ли он спозаранку в поле, или ночью вскрывать вагон или склад обезьяньего филиала, Паха желал, чтобы дети были с ним. Вроде они слушались, вроде шли без разговоров в любое время дня и ночи, но хотелось, чтобы порасторопнее, чтобы с огоньком, ядри их бабушку. Паха любил своих детей. Даже гордился ими. Даже чувствовал, что они во всем превзойдут его, если перестанут лоботрясничать, лодыри, негодники, лежебоки! Они уже закрывали рты. А сам Паха рот забывал закрыть и страдал от этого. Покойники родители тоже были такие. Дети же молодцы, всегда рты закрытыми держали. Это они в маму, она тоже молодцом. Паха же сам, когда ему грубо скажут: «Эй, хлеборезку прикрой, не то муха влетит!», только тогда, бывало, хватится, что стоит с открытой пастью. Ребятишки же, сколько ни присматривал за ними, рты имели в основном закрытые.

А почему все, что они делали с ним — делали, лодыри, без охоты — это Паха понимал, когда не нервничал. Для него вынуть из поезда, или в филиале стащить материал, необходимый в хозяйстве, было, конечно же, удовольствии несказанное. Потому что он знал, что всего этого нигде не купит и никто просто ничего ему не даст. Удовольствие и польза были для него понятия тождественные. В филиале он, между прочим, даже маленький телевизор стащил, чудной такой, называется Ай-Би-Эм. Подставка под него тоже была, четырехугольная такая, но Паха ее брать не стал. Только этот телевизор он не смог включить, и соседи тоже не смогли.

Но дети-то мыслят по-другому. Для детей любое занятие должно быть игрой, а любой результат усилий должен венчаться наградой. Что им за радость завладеть арматурой или цементом. Что за радость — мотыжить день-деньской. Вот вспашку и культивацию они любили: приятно идти впереди лошади (игра), а в конце работы водить лошадь на купанье к водоему (награда).

Паха хотел, чтобы пацаны лошадь купать водили по очереди: сначала один, потом другой, а не так, чтобы сначала один, потом тоже он самый, а второй чтобы ревел. Только каждый раз, когда он вручал уздечку одному, другой начинал визжать, что сейчас его очередь, а тот, кому он вручал — тоже в визг, что он постоянно ущемляется. Любя обоих одинаково, отец начинал путаться. Если бы у него было три сына, запомнить было бы несложно, кто в прошлый раз, кому сейчас, кто на очереди. Сложно запомнить, когда детей двое, точно также, как вечно путаешь, где правая рука, а где левая. Паха сожалел, что у него не три сына.

Так начальник опергруппы знаменитый Коява-старший, бывало, если преследуемый им бандит из трех путей выбирал один, сразу мог вычислить, какой этот бандит выбрал путь, но труднее приходилось Кояве, если этих путей было два.

В жизни детишек, в общем-то, было мало радости. Разве когда крутили барабан и зерна вытаскивали. Это Паха понимал отлично. Но и тогда, — если с сериями все шло мирно, потому что серий было две и сыновей двое, — то при вытаскивании номеров не обходилось без концерта, потому что одному приходилось вытаскивать три зернышка, другому четыре, а Паха опять не помнил, кто вытаскивал больше зерен в прошлый раз и кому следует сейчас. Он жалел, что у него не три сына, хотя опять же семь не делится на три.

Вращающийся барабан, точь-в-точь как в телевизоре, Паха смастерил сам. В него он помещал кукурузные зернышки с цифрами и буквами, потом кричал на детей и бранил их, чтобы они, негодники, скорее вытаскивали два зернышка с сериями и семь с номерами. И вот он уже знал билеты с выигрышем. Если ему удавалось на райцентровском базаре отыскать билет с нужным номером и серией, он его приобретал за тридцать копеек, и при розыгрыше на этот билет попадал выигрыш. Задача состояла в том, чтобы нужный билетик грузинской лотереи продавался именно в нашем райцентре. Но, согласитесь, легче найти билет, когда ты его знаешь. Его стали спрашивать: «Ну что? что?». Он отвечал уклончиво: больших, дескать, ценностей не выигрываю, но семья не бедствует. Один раз попался велосипед. Получил и ездит. В деревне ему поверили и стали помогать. На базаре тоже помогали. Когда выиграл «ФЭД» и взял деньгами, половину суммы продавщице Шущанике отстегнул, помогала в поисках. Искали все. Но билет вылавливался редко. Паха ни от кого не скрывал номера-серии билета. Он был убежден, что его не обманывают, потому что, если бы кто выиграл, он бы знал. О том, что могли выиграть, получить деньгами и утаить от него, протак не задумывался. А почему бы нет; богатели ведь, хоть и вкалывали по жизни меньше, чем он.

Но помогали. Кончилось тем, что все искали нужную лотерейку Пахе, а прочие номера никто и не брал. Дважды чуть не поймал «Запорожец». Пахе везло, но не везло району. Нужный билет был заранее известен, но в район не попадал. Только прочитав в «Заре Востока» тираж, он вздыхал, и с ним вместе вздыхало все большее количество людей.

Паха вздыхал не от жадности, а потому что видел, какие у него фартовые дети, а всем обделены. Он даже не мог сделать, чтобы дети его попробовали мороженое. Хоть бы он не рассказывал им, какое это лакомство! Как назло он вспоминал о мороженом только случаясь в райцентре и поравнявшись с лотком. А донести до дома это мороженое ему никак не удавалось. По дороге оно начинало таять. Приходилось съедать самому. Дома он рассказывал детям о своей очередной неудаче. Рассказывал огорченно и подробно, не утаивая от детей, какое удовольствие он мог им подарить: как на полпути к дому мороженое начинало неумолимо таять, и как он, убедившись, что ничего не сделаешь, только в самый последний момент, когда мороженое из твердого сгустка кристалликов превращалось в текучую и сладкую смесь молока и шоколада и, струясь меж пальцев, начинала капать, как тогда ему приходилось, вот так наклонив голову, вот так подняв руку, вот так вот подставлять рот и не съедать мороженое, а выпивать. Этими добросовестными рассказами он еще больше распалял воображение пацанов. Они не чувствовали горечи в его рассказе.

И еще одно обещание, данное сыновьям, он не смог выполнить. Не купил им заводную деревянную лошадку. Сколько ни смотрел он на базаре, ни разу лошадка не попала, а то бы купил непременно, не пожалел бы никаких денег. Такая была лошадка, что никак не доходила до района. Наверняка ее перехватывали в Сухуме. Он сам ее не видел. Знал о лошадке по рассказам отца. Покойный ему ее так и не купил, как и многое из того, что обещал. Паха думал, что в детстве его обделили, так хоть детей он обязан порадовать, чтобы не осталось обиды.

Вот какая это была лошадка. Она гнедая, маленькая, деревянная, стоит на дощечке с колесиками, подобно тем, на каких на базаре безногие ездят. На шее около загривка у нее такая дырочка, в которую всовываешь карандаш, — *каландаши*, как рассказывал отец, когда в детстве обещал купить, — вставляешь в дырку карандаш, и лошадка едет. Вынимаешь из дырки карандаш — лошадка останавливается.

Раньше, когда воровали только воры, Пахе было намного труднее. Тем более, что ему все приходилось делать и себе, и последнему Хатту. Его отец-покойник служил отцу-покойнику Хатта Нагана и служил с удовольствием. Он часто говорил, что если бы его однажды не привез Хатт Савлак из путешествия по Мингрелии, то так он и прожил бы всю жизнь во влажной стране, под началом злых Дадияни; и не видел бы жизни, и не видел бы солнца, моря и тепла, и волка нормального не имел бы.

Хатт Савлак, охотник и наездник, редко бывал дома. К челяди относился с добротой. Уже на седьмой год службы князь выделил покойному бате хороший отрезок земли, разрешил жениться. Он сам захотел остаться в доме. Матушку тоже привел туда. Им в господском доме было хорошо, не сравнить эту жизнь ни с эртой, ни с советской властью. Это отец всегда говорил шепотом. В конце жизни князь доверял отцу Пахи настолько, что хотел даже сделать его управляющим имением, однако покойный не имел для этого ни образования, ни ума, конечно.

При советской власти люди почувствовали свободу и стали вести себя независимо от Хаттов. И Хатты, конечно, пошли уже не те. Отец же Пахи остался верен Хаттам, так много для него и для его семьи сделавшим.

Сегодня Паху не только никто не принуждал, но, если бы он не пожелал служить Нагану, законы полностью были бы на его стороне. Но Паха не поддавался на агитацию. Он чтит память своего доброго отца и старался жить, как жил тот. Помогал Нагану Хатту и помогал с удовольствием. Ничего он не делал у себя по дому, не сделав прежде этого у Хатта. Потому хозяйства их получились одинаковые, как наряды бригадира под копірку. Хотя не совсем как под копірку, потому что у Хатта получалось чуть похуже. Придумал, скажем, Паха дом трехэтажный, но с висящими балконами, — прежде выстроил Нагану, лишь потом себе. Придумал кукурузный амбар с подобием лифта для корзины и автомышеловкой, которая чуть пальцы на ногах не отбила его жене, — и вот два одинаковых амбара в деревне: и у того, и у другого. Поскольку Паха у Нагана свои замыслы пробовал впервые, себе же делал работу уже во второй раз, то у него дома получалось лучше, как будто он, ядри его бабушку, для последнего Хатта работал недобросовестно, а для себя от души. Ничего такого не позволил бы себе Паха: просто он заметил такую особенность: когда работу сначала сделаешь у себя, уже имеешь опыт и сноровку. Он сам предложил Нагану несколько раз: давай, дескать, сначала буду пробовать у себя, чтобы, опыт и сноровку имея, тебе потом сделать лучше. Но и Хатт Наган тоже в свою очередь только на Пахе мог реализовать инстинкты господина, потому шел в отказ и говорил ему что-то вроде: «Не-кар! не-кар!».

Он и к детям Нагана был привязан не меньше, чем к своим. Девочки были ничего, но Ника, сын, совсем не учился, а образование человеку необходимо. Не выучишься, так и будешь лазить по вагонам, пока, не дай Господь, не посадят. А нет — будешь вкалывать на полях эфирного завода или в академии убирать из-под обезьян говно. Ника незлой парень, но Паху не слушается, что ни скажешь, тут же: «Молчи дурак, лучше рот закрой!», а отца все дома нет: то на каком-то плавкране работает, то без цели ездит на автобусах. Зато когда один из Гариба обозвал на поминках Паху сыном Хаттова раба, Ника сам об этом узнал, и Господь знает, что он ему сказал, но тот на второй же день пришел и извинился, как у культурных! Куда бы он делся! И Ника, и этот бандит Кесоу справились у Пахи, извинился ли Гариба. Да, говорит Паха, зачем надо было! Надо было, говорят. А культурно, спрашивают, он извинился или так, нехотя. Нет, культурно, подтвердил Паха, больше такого не делайте!

Обидчик, действительно, извинился со всей вежливостью, взглядом сверля почву под ногами:

— Слушай! Эй, ты! — сказал он. — Что рот разинул; человек пришел сказать, что не хотел тебя обидеть!

Думая об этих вещах, Паха не спал, а было поздно, а завтра было много дел. Скоро светало, а сна не было. Было тихо, лишь изредка донесется свист беспокойной русалки или в филиале завизжит шимпанзе, которого кастрировал Кесоу. Деревня была обята сном. Паха ворочался в постели. Рядом безмятежно дрыхли эти сони, эти бездельники — его сынки — и их мама. Все они молодцы, даже во сне, когда человек не контролирует свой внешний вид, рты держали закрытыми. Просто молодцы. Пусть поспят детишки, завтра он их будить не станет, когда пойдет к последнему Хатту удобрять кукурузное поле удобрением... Удобрение! Суперфосфат!

Паха вскочил с постели, как ошпаренный.

— Лежебоки, бездельники! — заорал он на детей так неожиданно, что дети аж подскочили на постели, да еще вместе с мамой. — Скорее, не то пропустим четырехчасовой!

И вот не прошло и четверти часа, как он в сопровождении сынков грохотал тачкой по направлению к платформе. Кесоу, Ника и очамчирский опять остались без туфель.

— Сколько вы это будете терпеть, мои тухлые вены? — удивился очамчирский, когда Паха, грохотом будя все село, начал взламывать дверь первого же вагона на своем пути. А это был их вагон. Паха вскрыл его, увидев, что там всего лишь туфли, был разочарован и, понукая детей, пошел вскрывать следующий.

— Если кукурузу не удобрить, она пропадет, — спокойно надоумил очамчирского Кесоу. — Тут крестьяне живут.

— Крестьяне по ночам спят, — возразил гость.

Ника беззвучно смеялся.

— Спит тот крестьянин, который запасся суперфосфатом, — изрек Кесоу.

И с этим сомнительным определением крестьянина подельники разошлись, не солоно хлебавши.

О блаженных селеньях

Но даже в цивилизованных селах есть уголки неподвижной дремучести, которую не проймешь ничем. Замечено, например, что семьи, живущие на берегах мутных рек, отличаются несколько странным, сумрачным характером. Их глаза все время смотрят в лес. Старые предрассудки исчезают с первым светом электролампочки, но у живущих на берегу темной реки даже лампочка горит как-то тусклее.

А последний Хатт жил как раз на берегу такой темной реки. Так что был еще последний Хатт, в доме которого русалка была не забыта.

Но Хатт не отличался трудолюбием и был не из домоседов. Когда его племянник в городе стал человеком, и о нем заговорили простые люди, последний Хатт полюбил ездить в автобусах и, притаившись, слушать разговоры простых людей о племяннике. При этом он молча преисполнялся гордости. «Чего уж удивляться, что Матута отважен и горд! А предки-то у него какие! Жаль, что этот деревенский у них никчемный», — слышал о себе последний Хатт, но все равно преисполнялся гордости.

Потом он на некоторое время вовсе исчез с горизонта, работал на плавкране. Наконец вернулся домой и женился. Стал работать на обезьяньем филиале. Пил.

Жена у него была некрасивая. Точнее, не совсем чтобы некрасивая, но — кино видали? Вот, как артистки эти: ничего здорового, крестьянского. Хотя артистки тоже бывают разные: есть Мордюкова Нонна, а есть Анжелики. А у нас, в селе — повседневность. Анжелика много не намотыжит. Девуца, когда на выданье, должна быть худенькая. А потом, когда выйдет замуж, когда родит, должна стать полнотелой, чтобы и с хозяйством справиться, и, уж извините, чтобы мужу — отрада. А жена Хатта так и не поправилась: осталась худая, одни серые глаза на все узкое личико. А так — безобидная, работающая, молчунья. И, к радости русалки, в некотором роде блаженная. Русалка внушила ей тайны трав. Явиться ей на глаза русалка не могла. Она сама переставала верить в себя, ибо никто вокруг в нее уже не верил.

Но вот сам последний Хатт мало что унаследовал от своих предков. Он был уж очень простоват. У него бегало трое ребят: мальчик и две девочки. Был еще мальчик, старший, но он его потерял несколько лет назад. И он был призван стать хранителем очага Хаттов, чей родоначальник и *пригласил* Владычицу Рек и Вод в Омут нашей деревни и дал ей обет, что его род будет следить в потомстве за порядком жертвоприношений; потомок Хаттов, которые гордились тем, что их предок Акун-Ипа покорил русалку и сделал свой род на все времена удачливым в охоте; отпрыск рода, которому русалка, верная клятве, никогда не делала вреда, — и он, последний Хатт, женившись, жену на моление к Омуту не привел! И в пору беременности за водой отправлял! И в сумерки детей домой не загонял! Такой был пустой человек, этот последний Хатт.

Но никому не было дела до суеверий темной старины. Сельчане богатели, строили просторные дома, покупали автомобили. Однако все-таки русалке разок-второй с радостью удалось заметить, что где-то глубоко, в тайниках сознания, у людей пока еще теплится мглистый страх. Как-то вечером она стала свидетельницей картины, которую мы опишем по-порядку:

Алел закат. Экономистка обезьяньего филиала, гуманная и начитанная женщина, заметила среди скотины начало сибирской язвы, которая считалась болезнью от гнева Владычицы Рек. Тут бы ей бежать к доктору Гвазава, так нет. Она вспомнила, что жена Хатта знает средство от этой болезни. Экономистка зажгла восковую свечу и молча пошла по проселочной дороге.

К дому Хатта она шла безмолвная, как этого требовал обычай. Шла с горящей свечой по вечерней околице. Жена Пахи доила буйволицу и, увидев экономистку, так и замерла с выменем в руках и позволила буйволенку, который вырывался из рук тоже изумленного мужа, опрокинуть полное ведро молока. Экономистка шла, восторженная и отрешенная. За железной дорогой ей повстречались семеро ее сыновей. Они возвращались с моря, покуривая. Увидев мать, мальчишки одновременно спрятали левые руки с сигаретами за спину, не подумав о том, что этот одновременный жест выдает их еще больше. Но экономистка со свечой, словно жрица огня, прошла мимо них, глядя перед собой стеклянными, невидящими глазами.

Жена последнего Хатта тут же поняла ее. Тоже молча, как этого требовал обычай, она спустилась к Мутному Омуту, набрала воды и, не оглядываясь, понесла домой. Молча же нашла травы, свойства которых были известны чуть ли не ей одной. И приготовила снадобье.

Над этим хохотали и судачили в селе. Но скотина была спасена, русалка торжествовала. Она-то знала, что это ее чары. А последний Хатт сказал жене:

— Что могут значить твои травы, когда люди в космос летают!

— Тише, тише, — пришла она в ужас от его слов. — Грех! И повернулась в сторону Мутного Омута, словно желая удостовериться, что Владычица действительно не слышала мудрствований ее дураля.

А на другой день Хатту надо было делать *культивацию* на приусадебном

участке. Помните ту самую работу, которую сыновья Пахи делали и охотно, и с огоньком? Культивация — способ пропашки кукурузных рядов, который позволяет *обсыпать корни злаков землей, не пропалывая сорной травой*. Кукуруза для этого сеется рядами, и, когда она уже выросла, а сорные травы — еще нет, проводят культивацию, т.е. пропашивают пространство между рядами, применяя плуг с особым, *обоюдоострым* лемехом. Культивация настолько широко внедрилась в сельское хозяйство, что уже в первые десятилетия колхозов стахановцу дяде Платону удавалось собирать с гектара сто центнеров кукурузы.

И вот, на второй день после описанного излечения скотины и атеистического высказывания Хатта, ему пришлось делать культивацию. Паха не мог сделать это за него, потому что ни на шаг не отходил от сестры, третьей ночью упавшей с волка. Как и все философы, Хатт был неважный хозяин и, конечно, собственной лошади не имел. С раннего утра до полудня, пока солнце не начало палить, его сосед пахал сам. После этого он распряг лошадей и одолжил последнему Хатту. Хатт пахал под нещадным солнцем. Несколько раз он приводил поить лошадей к заводу, где мы, дети, купались. «Не утоните, вы!» — говорил он. Был при этом вполне нормальным. А через несколько часов мы, дети, прибежали на крик.

С последним Хаттом случилось нечто вроде солнечного удара. Он вырывался из рук мужчин рода Гариба. «Отпустите меня: там смеются, там пляшут!» — умолял он. Но его не пускали. Он рвался туда, где не было ничего, кроме болотистого поля, да за ним Омута — обители русалки. В остальном он был благоразумен: вырываясь к веселью и пляскам, которые видел только он, хромя, он делал зигзаги, чтобы не задеть нас, детей. Мы это чувствовали и не боялись его. Мы боялись тех, кто его удерживал. А он плакал и просил: «Отпустите меня: там весело, там хорошо».

Было жутковато наблюдать этот прорыв долгой тоски. Тоски, которая не давала обжиться ему в родном доме, заставляя то работать на плавкране, то ездить в автобусах, слушая разговоры о племяннике.

«Отпустите!» — просил он. Он вырывался раз, но ему сделали подножку. Решив, что этого достаточно, чтобы окончательно выйти из себя, Гарибы повалили его и начали бить. Вдруг, помнится, он на короткое время пришел в себя. «Не бейте, братья, сын видит!» — сказал он, хотя от страха и обиды ревел не только сын, ревели и две его девочки. «Сын же видит, что вы делаете!» — сказал он очень ясным голосом. Но разве можно остановить крестьянина из рода Гариба, когда он уже бьет!

Матуты на них не хватало! Его связали и обливали водой из колодца. Собрались соседи. Они расположились в тени под орехом и курили, вспоминая подобные случаи. Испуганная жена последнего Хатта увела испуганных детей. Он утихомирился и даже заснул.

Связанный, он лежал в луже воды, пока не явился старый Батал. Старик подошел. Все встали, приветствуя его. Он спокойно полюбопытствовал, в чем дело.

— Сейчас же развяжите его! — закричал Батал. Последнего Хатта спешно развязали и уложили на лежанку. Вскоре он проснулся и оглядел соседей ясным, ничего не помнящим взглядом.

— Откуда вас столько набежало-то? — спросил он.

Никто не ответил. Жена пыталась увести его. Вдруг он все вспомнил и понял. Красивое глуповатое его лицо исказилось в гримасе. Он всегда хотел быть своим в клане Гариба, но оставался чужаком.

Он никого ни в чем не упрекнул, и позже все притворялись, будто ничего и не случилось. Но в этот миг он ушел задумчивый и больше не вышел к соседям. Все встали и смущенно разошлись.

Вот эти два деревенских события — факельное шествие экономистки и краткое безумие последнего Хатта — подняли настроение русалки, тихо спивавшейся у речного побережья. Она тешила себя мыслью, что все-таки живет еще память о ней, хотя бы в нашей деревне. О других деревнях она и не думала, — она, которой когда-то поклонялся весь наш, в те давние времена обширный, край.

Русалке наскучило бессмертие — она хотела, чтобы ее видели и узнавали. Пусть не пугаются, лишь бы видели. И сны у нее были тревожные. Теперь ей часто снилась грязная радуга, которая превратит ее бессмертие в один нескончаемый мучительный миг. Русалка не боялась ничего, но кому приятно видеть плохие сны! Она-то и думала, что все, что могло произойти, уже произошло, и ничему новому не быть.

II

О смутной тревоге

Эту историю мне уже приходилось вам рассказывать, дорогие читатели*, но еще раз послушайте ее теперь, когда она обросла другими историями. Повторение не повредит.

Матута подъехал к базару, вышел из своего «мерседеса» и оглянулся в поисках уларок. Дело в том, что цыганки на базаре подразделены на *турих и уларок*, то есть на гадалок и торговок. Подобно тому, как, по свидетельству охотников, у туров есть в горах постоянные спутники — горные индейки-улары, которые предупреждают стадо о приближающейся опасности, за что имеют возможность питаться турьим пометом, так и на базаре торговые цыганки целый день носились туда-сюда, знали, где и что происходит, и вовремя предупреждали гадалок, спокойно стоявших на однажды выбранных местах, о появлении органов, а за эти услуги получали возможность пихать клиентам, пришедшим спросить судьбу, сигареты, дональды и парфюмерию. Желających погадать в тревожные эти дни становилось все больше и больше, тогда как курс демократизации постоянно лихорадил цыганский рынок. А мистика у нас всегда строже каралась, чем торговля.

Не найдя цыганок — ни турих, ни уларок — у ворот базара и около остановки, Матута понял, что недавно была очередная облава и органы отогнали цыганок к бакалейному ряду. Горсовет время от времени приказывал органам отогнать цыганок подальше от глаз иностранных туристов, будто не сам он когда-то прикрепил цыган к Старому Поселку Сухума, прервав их путешествие *к краю земли* под предводительством барона *Мануш-Саструно*. И это тоже действовало Матуте на нервы, как и все, что он видел в Черноморье по возвращении из Магадана. Так и не найдя цыганок, которых эти органы отогнали по приказу этого горсовета, как будто горсовет, *дел де марел три года***, обеспечил город сигаретами, Матута был вынужден ступить ботинками на пыльную мостовую базара и пройти к бакалейному ряду.

А вот что было дальше. Вдруг Матута заметил, что в его *Подсознании* нарастает *Смутная Тревога*, выражаясь слогом, которому гангстер научился на Магадане. Там ему попалась книжка без обложки, которую он прочитал и усвоил, хотя не смог выяснить ни ее названия, ни кто ее сочинил. Но зато

* См. «Знамя», № 4, 1994.

** Хлесткое цыганское выражение.

он научился замечать *Мысль*, как только она появлялась в *Подсознании* и *Методом Фиксации* вытаскивать на *Поверхность Сознания*. Это постоянно спасало Матуту в трудные минуты. И сейчас жиган тотчас почувствовал хищным нутром Смутную Тревогу. Она все нарастала. На мгновение ему показалось, что это продолжается его обычное раздражение на советскую власть, но вскоре Матута осознал, что Смутная Тревога сродни тому чувству, которое наверняка знакомо читателю, если ему приходилось, отмычкой одолев замок, войти в хату, вдруг ясно почувствовать, что хороший товар там есть, только не обойтись без мокрухи. Но, век свободы не видать, что-то другое, более торжественное проклевывалось в Смутной Тревоге, охватившей сердце, точнее душу Матуты. Потому что у Матуты не было сердца. Какое может быть сердце у человека, который девятнадцать лет чалился на Севере, где за это сердце вместе с сердцем съедят в первый же день, если уже не съели на этапах.

Смутная Тревога такого типа была вообще не знакома ему. Она очень насторожила жигана. Матута весь подобрался, голова заработала, как мотор, он уже готов был ко всему, хотя еще не заметил стоявшую напротив, по его выражению, Чертовски Симпатичную Цыганку. Нечто обобщенно-цыганское он уже видел, но не счел нужным взглянуть. В голове у него была простая задача — купить сигареты «Космос» сухумской фабрики, потому что фирменные он не курил, а в сердце, точнее в душе — Смутная Тревога, которую Матута никак не связывал с цыганским миром.

Цыганка засекла его еще раньше, но тоже, в свою очередь, увидела не жигана, а клиента мужского пола, к органам непричастного, с которого надо стянуть пару десятков рублей. Она относилась к высшей касте — касте турих — и была сейчас на рабочем месте. А к высшей касте относилась она не потому, что была дочерью покойного барона Мануш-Саструно, который разработал правила обычного цыганского права применительно к сухумскому Старому Поселку. У барона от семи жен было огромное количество сыновей и дочерей, и никто из них не пользовался особыми привилегиями, если лично этого не заслужил. Просто дар прорицательницы цыганке был дан от природы, иначе она была бы, как ее сестры, обычной уларкой. В свои тринадцать лет она успела снискать себе имя, гадая и на картах, и по руке, и по зеркалу, так что покойный барон любил ее не только как дочь, но и как знатока своего дела, хотя не баловал ее, как не баловал никого, потому что это вообще не принято в цыганском мире.

Увидев Матуту, цыганка шагнула к нему, но глядела на него не более, чем обобщенным взглядом. Барон не велел цыганкам смотреть на мужчин, тем более на *гаджио*^{*}, выше подбородка и ниже пояса, исключая, конечно, право глядеть во время работы в глаза и на ладони, о чем подробнее будет сказано ниже. Барон учил, что опытной турихе, чтобы изловить гаджио, достаточно общим взглядом выше пояса, но не выше подбородка, определить его пол; органы он, или не органы; и сколько может выложить за гадание. И только после того, как он был изловлен на гадание, ей разрешалось заглянуть ему в глаза для гипноза, а потом посмотреть на его ладонь. Причем эти два взгляда в запретные области должны быть прицельно точными, но ни в коем случае не скользящими, а тем более — не соединенными друг с другом. В те доли секунды, когда взгляд, переключаясь от глаз к ладони, проходит запрещенные области тела гаджио, туриха обязана была его отключить. Для исполнения этого пункта старшие турихи наблюдали за младшими и наставляли их. Слежка была поручена и уларкам, хотя они в этом мало смыслили. Далее.

* Нецыган.

При гадании цыганкам было дано право помимо гипноза насыщать на клиента женские флюиды. Но это делалось только в случаях крайней необходимости, и делалось таким образом: беря руку гаджио в свою, туриха по этому живому контакту посылала ему токи, чтобы он от волнения раскошелится еще больше. Но при этом строго запрещалось принимать обратное движение токов от клиента, чтобы исключить в работе *Эмоциональное Включение*, как сказал бы автор Матутиной книги. И это цыганкам легко удавалось при помощи цыганской порядочности, вложенной в них. Покойный барон разрешал также турихам в крайних случаях пользоваться своим внешним видом. Но это позволялось турихам только после замужества. Тут, помимо согласия барона, требовалось разрешение мужа. Если муж давал такое разрешение, это означало: он был убежден, что в работе жены исключено *Эмоциональное Включение*. Всеобщая взаимная слежка гарантировала точное соблюдение турихами инструкций барона, но конечным пунктом, по которому определялась чистота работы цыганок, был результат, выражающийся в сумме заработанных денег. Пятая часть заработанного уходила в цыганский общак.

Чертовски Симпатичная Цыганка в свои тринадцать лет не была замужем. Так что об использовании ею в работе своей внешности не могло быть и речи. Но она прекрасно обходилась без этого, отлично владела гипнозом и знанием смысла каждой линии подкожного рисунка руки, а самое главное — тончайшей интуицией. Послушная дочь отца, она вообще была готова скрывать на рабочем месте свою необыкновенную красоту, если ее необыкновенную красоту возможно было спрятать. Цыганочка плохо одевалась, причесывалась нарочито небрежно, даже золотые фиксы себе не вставляла, а ходила при родных беленьких зубках. Она как могла старалась вогнать вовнутрь свою внешность, оставляя снаружи лишь ее остоу.

Но вернемся к Матуте и Смутной Тревоге в его душе. Потому что сколько бы мы ни отвлекались, она не исчезнет и не уменьшится. Рассеянно гангстер поравнялся с турихой. Совсем близко от этого места уларки посверкивали пачками сигарет. Если бы не Смутная Тревога, ему бы пойти чуть левее, в сторону комиссионки «Адонис», и Матута подошел бы непосредственно к уларкам, купил бы себе сигарет и вернулся к машине, а не поравнялся бы вслепую с Чертовски Симпатичной Цыганкой. Туриха тоже в свою очередь видела в нем лишь обобщенного клиента, отмечая про себя самое необходимое для работы: он мужчина, он совсем не органы, он платежеспособен и, возможно, щедр.

Гангстер поравнялся с ней и, неведомо для себя и для нее, успел передать ей часть Смутной Тревоги. Но Смутная Тревога тут же продемонстрировала свое известное свойство не убывать, а удваиваться от передачи другому лицу, подобно знанию.

— А погадаю тебе, парень! — почему-то помедлив, воскликнула туриха. — Не отказывайся, а то заболеешь раком!

И тут же почувствовала странную дрожь в своем рабоче-тароватом голосе.

Наметанным глазом домушника Матута дал ей Оценку. Она, Оценка, появилась лишь на поверхности сознания и надо было ей еще нырнуть в Подсознание, чтобы случилось то, чего не случиться не могло. Пока же Оценка кинулась к входу в Подсознание и нашла свое место занятым Смутной Тревогой. Смутная Тревога не только переполняла своды Подсознания, но и, не вмещающаяся в них, выливалась наружу. Матута же бессознательно протянул руку турихе, трепеща в фокусе ее взгляда.

Он протянул руку, все стараясь унять Смутную Тревогу, которая могла бы еще пригодиться, если бы он шел на дело, но ни к чему была сейчас, рядом с базаром, посреди бела дня, когда, как ему казалось, ничего не угрожало жигану. Он протянул руку не глядя, как просто цыганке без

конкретности, и тут же Смутная Тревога вылетела из души и вспорхнула ему на ладонь. Но и от этого она не утихла, а усилилась, подобно тому, как не скудеет рука дающего. Его ладонь тыльной стороной опустилась в теплую, узкую, дрожащую от бега крови долину девичьей руки. И Матута почувствовал, как на дно его души капнула печаль, отчего неподвижно-напряженная заводь его Смутной Тревоги встрепенулась и разошлась кругами. Вслед за этим он ощутил нежное покалывание тысяч серебряных игл, словно он впрыснул в вены опиухи.

Но жиган продолжал держаться.

— Элла-мондо*, косуля! — сказал он бодро, хотя перед ним, как в тумане, стояла не косуля, а самая что ни на есть туриха. Пронзенный серебряными иглами Смутной Тревоги, давно мечтавшая схватить ее, эту стерву, и вытащить на Поверхность Подсознания, он флиртовал бессознательно. Сейчас он взглянул на цыганку затуманенным взором, щелкнул ее по носику и спрыснул:

— Хочешь, косуля, устрою в кооператив?

Она, кажется, даже не услышала его предложения.

— Дай мне руку, парень! — сказала она твердо, и гипноз так и брызнул из ее глаз.

— Не хочешь, или барон не разрешит? — сами сказали губы Матуты.

А Смутная Тревога, войдя в неведомую связь с гипнозом ее плутовских глаз, закипела и поднялась в нем, как молоко.

— Давай полтинку, парень, чтобы правда была, — добивала она его.

Полтинник был слишком большой взяткой даже при тогдашних ценах, но руки бывшего преступника сейчас слушались не его, а Цыганку. Получив хрустящий полтинник, она пошептала над ним, плюнула на бумажку и протянула ее гаджио. Он, конечно, отказался брать. Получив деньги, она со вздохом отправила их под кофточку, где у нее был пришит внутренний карманчик, потому что ее девичьи грудки пока не могли служить естественным кошельком.

Туриха окинула привычным взглядом кисть жиганской руки со смешанно-лопатовидными пальцами. Отметила развитый большой палец — свидетельство большой воли, сильно выраженные запястья физической силы и запястья духовности, менее развитые запястья интеллекта, затем схватила общим взглядом его характерную ладонь и едва успела подавить крик. Цыганка совершенно неожиданно для себя нарушила главную заповедь турих: она поддалась Эмоциональному Включению. Мощные токи, исходившие от гаджио, хлынули ей на ладонь и через руку растеклись по всему тельцу, не встретив ни ома сопротивления. Оба гипнотических конуса ее взгляда опустились долу, на мостовую, залитую пивной пеной. Последними усилиями воли ей удалось убрать румянец, мгновенно покрывший ее от корней волос до босых пят, но у нее кончились силы и румянец все-таки местами остался, напоминая аллергические пятна. А потом в глазах ее потемнело, характерная ладонь гангстера исчезла, и она, лишившись чувств, стала падать на мостовую бакалейного ряда и скандально была поддержана за талию знаменитым Матутой.

— Совуло, совуло с нашей милой Дарико? — заволновались глупые уларки.

Сейчас объясню, что случилось, только вы не галдите и не привлекайте лишних глаз и ушей, уларки!

Резко вычерченная от Меркурия, делая неожиданный изгиб у Марсова

* Привет тебе! (цыг.)

холма и страстно захватывая кольцо Венеры, от линии печени к линии сердца уверенной бороздой тянулась багровая линия судьбы этого гаджо, и эта Линия Судьбы была сплошь исполосована неподвластными Воле хозяина разветвлениями Жизненных Дорог, полна страстей и томлений в казенном доме. А поближе к Юпитеру, с сильно выраженным Честолюбием и Жаждой Славы, у чувственного и прозрачного Бугра Венеры гадалка, оглушенная собственным сердцебиением, увидела то, в чем уже не могло быть сомнения. Здесь явственно были: во-первых, треугольник, во-вторых, звезда, в-третьих, круг и, наконец, стрела, безнадежно направленная на линию жизни. Туриха заметила то, чего не замечала ни до, ни после нее ни одна туриха. Туриха заметила роковое скрещение судьбы этого гаджо с ее, ее собственной судьбой!..

Ей бы бежать, несчастной дочери отца, но она стояла и стояла, читая на его ладони, что ей невозможно бежать, видя на ней себя, как раз гадающую посланнику Рока на самом скрещении своей и его Судеб. И у цыганки помутнело в глазах.

О недоразумениях земных

Зря усомнился Могель в расторопности собаки. Она сделала-таки, чтобы Могель еще раз увидел девушку. Но как драматично произошло это свидание!

Могеля, к рассвету наконец заснувшего, разбудили, когда стол был уже накрыт. Кесоу тоже был тут. Такая же, как вчера, индейка была выставлена на стол. Начали застолье втроем, потом набегали соседи.

И уже во второй половине дня Могеля, хмельного, довольного, только эту абхазку не увидавшего, зато приглашенного приезжать в деревню как к своим, когда выдадутся свободные выходные, на что он поспешил дать твердое обещание, Платон и Кесоу проводили до трассы.

Тут, не желая появления в финале лишних действующих лиц, собаки и индеек (и не ведая, что они были необратимы и уже участвовали в действии, как известное ружье на стене), Могель стал упорствовать, чтобы его новые друзья не ждали, пока подъедет автобус, сумел их уговорить, тем более, что им надо было засветло привезти старику хотя бы одну арбу дров. Кесоу тайком от Платона, чтобы не смущать Могеля, сунул ему в карман немного денег. Могель не отпирался, решив в скором времени приехать и вернуть долг, а там и у старика погостить, но уже запросто, чтобы особо не утруждать его внучку.

Как только ушли его приятели, умница Мазакуаль появилась, гоня перед собой выпавшихся птиц. Она ясно заглянула ему в глаза, но слишком возбужденный и хмельной Могель прочел в ее взгляде только то, что все в порядке, в чем он и не сомневался, но не прочитал подробностей. А они заключались вот в чем.

Вчера Мазакуаль незаметно пошла по следу хозяина (это когда он сел с незнакомцами на арбу) и вскоре убедилась, что в доме с крытыми воротами ему не только ничего не угрожает, но, как это принято у людей в особых случаях, закололи ради него индейку, весом не меньше каждой из двух ихних. Мазакуаль была растрогана этими знаками уважения к ее Хозяину. Мы тоже не носом воду пьем, подумала она. Носом пьют волки, собаки воду лакают. Она перебежала к уже облюбованному дому подбортнее с добротным же птичником и вывела оттуда индейку, которая была еще упитанней, чем та, которую забили для Хозяина. Загнала добычу в гостеприимный двор старика, а сама стала караулить неподалеку. В полночь Хозяин и те двое вышли. Собака за ними. Привели Хозяина именно в знакомый собаке, тот самый добротный дом. И тут его хорошо приняли. Мазакуаль продолжала сторожить. Когда поутру и тут забили индейку, собака решила опять не оставить Хозяина в долгу. То, что она сделала, свидетельствовало о наличии

у нее не только необычного для собаки ума, но и чувства благодарности, но справедливо ли будет судить о поступках четвероногого с точки зрения человеческой нравственности!

И вот скоро индейка, равноценная только что забитой, пригнанная уже от вчерашних хозяев, влилась в птичье общество за добротным домом, то есть за домом Платона.

Наутро же, и не сразу наутро, а успев выгнать за речку коров, надоенных до затмения, затем накормив старика, старушка-дочь вышла с кормом для птиц — и тут она обнаружила, что в ее птичнике, помимо забитой вчера индейки, недостает еще одной. Что вместо недостающей появилась равноценная — этого она по-женски не заметила. Старушка обернулась в сторону дома Платона: не стоит ли во дворе его жена, потому что кому же, как не ближайшей соседке и подруге поведать о пропаже!.. Внимательнее, друзья, не то и мы можем запутаться! Старушка и Платонова жена, как нам известно, соседки, и каждая могла обозревать двор другой. Так случилось, что жена Платона как раз тоже кормила птиц и тоже заметила свою пропажу, не замечая прибавления. Внимательней! Все у них получилось не только одновременно, но и одинаково. Недаром женщины, несмотря на разницу в возрасте, были приятельницами. В своем преклонном возрасте старушка-дочь сохраняла хорошее зрение; вдевала в игольное ушко нитку без вашей стеклянной пары глаз, как говаривала она свойственнице из Великого Дуба. А уж своего индюка с зелено-фиолетовым опереньем крыльев, которого она взрастила, кормя толченой крапивой, старушка признала бы и за версту. Чтоб побрить мне голову, пока еще в душе вскричала старушка. Все-таки она была старая дева, так и не вышедшая замуж, посвятив себя отцу. В эту минуту, поспешно поддавшись гневу, она и не подумала, что индюк ее мог попасть в индюшачью стаю соседки просто случайно, перелетев через низкий плетень. Ей в голову не пришло, что ее соседи никак не могли позариться на птицу, и тем более увести ее у живущих через забор. Она только видела своего индюка, важно гуляющего среди чужой стаи. Прекрасный повод для доброй ссоры! В ее оправдание — точно такое же смятение происходило в эту минуту в мозгу и в сердце соседки. Ей, которая помоложе, сам Бог велел хорошо видеть. И надо же было, чтобы именно в этот момент она заметила свою птицу во дворе соседки, а нервы у нее и так никуда негодились из-за беспечного мужа и сыновей, которые тоже пошли в него.

Другие птицы, птицы гнева взметнулись в воздух. Старушечье: «Я же к ней как к дочери!» с соседкиным: «Я же к ней как к матери!» сцепились в воздухе, на лету. А наземная тень этой горней битвы выглядела так:

Женщина, готовясь к бою, должна взяться за бока. Обе женщины проделали это движение одновременно, хоть и независимо друг от друга. Еще раз подтвердилась народная мудрость, которая гласит, что джигиты, желающие дружить, должны жить в достаточном отдалении друг от друга, чтобы их жены, сдуру перепутав своих птиц, не поссорились и не перессорили своих джигитов. Но джигиты на то и джигиты, чтобы даже в таких случаях не воевать со своими женами, потому что на любую женщину достаточно цыкнуть, и она замолчит. Замолчит, правда, пока ты отвернешься, чтобы придумать способ устранить причину ссоры женщин, кляня их характер. Старик и Платон сразу сделали то, что необходимо сделать в этом случае: цыкнули на своих женщин, заставив их замолкнуть. Старик вернулся в дом, остальное доверив молодым. А молодые, то есть Кесоу и, увы, Платон, как раз выгоняли запряженную арбу. Они задумались. И, как бывает в драматургии что жизни, что театра, разрешение принесло подоспевшее к событию другое действующее лицо. Это был проезжавший мимо верхом бригадир. Поинтересовавшись причиной молчания (именно молчания, потому что, ос-

тановив женщин, сами мужчины как раз замерли и думали) и узнав, в чем дело, бригадир сообщил, что на трассе голосовал, пытаясь уехать, юный мингрелец с собакой и как раз с двумя индейками. Молчащие женщины кинулись к собакам, но собаки были на месте. А мужчины с сердцами, разрываемыми огорчением и злостью, поспешили к трассе. Платон и Кесоу шли приближающейся к бегу походкой. Бригадир ехал, придерживая шаг лошади. Первым примчаться на место возмездия не было смысла.

Птичий вор как раз собирался с трофеем сесть в остановившийся автобус. Три оглушительных свиста приказали автобусу не уезжать. Платон и Кесоу уже бежали, бригадир отпустил узду коня. Глаза их так и зыркали, зубы их так и клацали, хотя Могель не мог этого понять из-за автобуса. Явно не везло Могелю по эту сторону трассы. Вот и теперь между ним и автобусом возникла лошадь. В следующий миг Могель был схвачен. Бригадиром за шиворот. Автобус ретировался, открывая другую сторону трассы. Крепкий бригадир, свесившись с седла, аж приподнял над землей ничего не понимающего Могеля. Но, приподнятый, парень был тут же вознагражден: через круп лошади он увидел на другой стороне дороги эту абхазку. Она что-то взволнованно объясняла Платону и Кесоу.

Конечно же, она объясняла, что птицы нашлись и парень ни при чем. Платон и Кесоу, как и вчера, пришли ему на выручку. Они так прикрикнули на верзилу-бригадира, что тот не только выпустил жертву, но и сам, пяткой надавав в бок лошади, ускорил восвояси. А в следующую минуту Могель уже не мог понять, чем вызвано такое бурное проявление чувств у приятелей, с которыми он уже вроде бы прощался. Они обнимали, тискали его, хлопали по плечу.

То, что случилось уже вслед за этим, было для Могеля важнее, чем выяснение причин новых прощальных эмоций его приятелей.

Девушка подошла к нему, обняла его и чмокнула в щеку! По-братски, но поцеловала!

И тут же убежала стремглав, газельим бегом по аробной тропе между азиями.

Ему что-то пытались объяснить. Могель ничего не понял. Он оставался отрешенным и в автобусе, гулко наполненном родной мингрельской речью.

Птицы сидели у него на руках. Собака Мазакваль, сознавая, какую беду чуть было не натворила, виновато притихла в ногах.

Но Могель и не злился на нее. Какими бы замечательными способностями она ни обладала, Мазакваль все же оставалась собакой. Еще в Великом Дубе он каждый раз, когда дворняга воровала птицу у соседей, вынужден был разными способами возмещать им потерю, отчего о нем в деревне сложилось представление как о парне, делающем подарки. (Не входило ли и это в планы хитрой Мазакваль?) А что ему было делать. Не закладывать же Мазакваль! А с другой стороны, не мог же он преподать собаке, в чем разница между добром и злом по-человечески, когда этого не могут уяснить себе люди, которым Бог семнадцать раз посылал Пророков, а один раз Своего Сына! Признавшись же в вороватости собаки, он должен был или от нее отказаться, или выставить себя на смех, потому что поди докажи людям, что она почти разумное существо.

О линиях жизни и печени

Раздраженный, что ему приходится идти за сигаретами вдоль базара, где еще эта замухрышка в обмороке падает ему на руки, Матута, придерживая цыганочку, зло оглянулся, ища, кому спихнуть груз. Но рукам его становилось все приятнее и приятнее удерживать тело, трепетной струей норовящее

стечь с рук. А Смутную Тревогу ему так и не удалось вывести из карцера Подсознания, оформив в какую-нибудь путевую мысль.

— Очнись, дура! — возмутился он и дважды шлепнул ее по смуглому личику. Но много бы дали когда-то урки Магадана, чтобы Матута бил их так небольно.

— О, Бара Дэвла!* — прошептала цыганка, приходя в себя.

Уларки испуганно галдели. Поспешно вынув Дарико из лап гаджио, они осторожно усадили ее на подобие кресла, которое тут же смастерили из двух мешков. А жиган сделал то, чего не сделал в свое время, иначе не чалился, может быть, всю молодость с юностью в придачу. Будучи вором старой школы, Матута неоднократно уходил от органов на машинах, но считал ниже своего достоинства чухать на своих двоих, за что и поплатился длинным сроком, когда забрался в дом полковника Коявы-старшего, чтобы унести клавесин, потому что Коява не умел играть на клавесине, который получил в виде взятки, а Матута умел, ибо мечтал стать не жиганом, а композитором. Сейчас же он поспешно удалялся от бакалейного ряда; хотя удалялся — еще слабо сказано. Можно сказать даже: постыдно удалялся. Можно сказать даже, — убегал. Хотя при этом его сильное тело сопротивлялось побегу и старалось нестись с достоинством, насколько это возможно, но эта нарочито-степенная поступь еще больше изобличала его побег, потому что походку подделать сложнее всего.

Туриха Дарико отрешенно откинулась на спинку импровизированного кресла рядом с недавно закрывшимся пивларьком, как бы давая возможность наконец описать себя. Ее ножки, закрытые юбками по щиколотку, опустились в тающую пивную пену, как у Афродиты, вышедшей из пены моря. А колени ее... И не знаешь, как подбирать слова, когда перед глазами маячат то свирепый Матута, то ее братья с серпами. Хоть описывай ниже подбородка и выше пояса. Придется вам поверить мне на слово: все было при ней. На ее личике словно застыла мольба, обращенная к суровым братьям, — выдать, выдать ее скорее замуж, от греха подальше! А потом шли ее глаза и прочее.

Очнулась она, окруженная глазами, юбками и звоном металла уларок. И тут же почувствовала полтину, спрятанную под кофтой. Она не могла ее не вспомнить, потому что бумажка жгла кожу. Теперь, когда с ней случилось Эмоциональное Включение, деньги, полученные от виновника происшествия, были подобны плате за любовь. Рука цыганочки нырнула в межгрудье и, выловив полтинник среди прочих денег, извлекла его. С минуту ее рука рассеянно искала, куда бы деть деньги. Уларки услужливо предложили избавить ее от лишнего груза. Но туриха не стала их беспокоить, а убрала полтинник в наружный карман юбок.

Утерев с лица брызги воды, при помощи которой ее приводили в чувство, цыганка сладостно зажмурилась. И вдруг запела песню.

У машины Матута обернулся. И хотя взгляд цыганки был рассеян, как это бывает у поющих турих, он встретился с ней глазами. Она находилась где-то в гуще соплеменниц, но взгляд его случайно нашел ее взгляд. В таких случаях ошибки быть не может.

В тот же миг от скрещения их взглядов брызнули искры, так что собственно глазами ни он, ни она ничего толком не увидели. Матута нахмурился и стал отворять дверь машины. А цыганка продолжала петь.

Оставляя внизу уларок, галдеж, грязь и наглые запахи базара, песня

* О, Боже мой! (цыг.)

поднималась все выше и выше в вечернее сухумское небо, откуда открывалась необычная картина: не только «Жигули» и «Москвичи», но и грузовые, и автобусы, и даже черные «Волги» с антеннами шарахались в стороны от обезумевшего «мерседеса», который вдруг выехал против течения. Бессознательно руля, он доехал до двора любовницы и остановился под ее окнами. Раньше он себе никогда этого не позволял. Обычно он звонил Джозефине или подсылал мальчишку, а сам ждал в машине поодаль. Появление знакомого всем «мерседеса» вызвало во дворе переполох. Взрослые оставили свое домино, дети волейбол. Во всех четырех домах двора любопытные подбежали к окнам. Подтверждались слухи о том, что Джозефина изменяла мужу с бандитом Матутой. Хотя Матута не подал никаких сигналов, Джозефина почуяла его приход, прокралась в лоджию и выглянула в щель между шторами. Увидав возлюбленного, она сказала себе, что Матута совсем обалдел, порадовалась, что хоть мужа дома не было, но решила не открывать, чтобы вконец не засветиться. Однако до этого не дошло. Очевидно опомнившись, Матута тотчас уехал.

Ехал он медленно. Смутной Тревоги уже не было. Вместо Смутной Тревоги он ощущал могучее волнение души и тела. Такого рода волнение гангстер испытывал всего несколько раз в жизни. Первый случай Матута втайне считал своим единственным грехом: однажды в лагере в Коми АССР он потребовал гитару и спел, провожая глазами клин улетающих журавлей. Второй раз он сильно разволновался, когда, вернувшись домой на волю, застал в родном городе и повсюду беспредел и беззаконие. Тогда Матута ворвался в Черноморье как чума. На первой же сходке он семь душ *оставил не ворам*. Раз и навсегда Матута сломал установившиеся в его отсутствие правила. А то воры здесь совершенно деградировали, сидя в доле у коммерсантов и проводя время в безделье и роскоши. И вот сейчас, как ни странно, эта замухрышка-чавела смогла вызвать в его душе бурю. Матуте вдруг стало жаль себя. Он вспомнил, что он бездомный. И решил поручить ребятам подыскать ему подходящий дом.

Но все это были лишь обрывки мыслей. Первая ясная мысль оформилась в его мозгу, когда он, уже выйдя из машины и открыв калитку, шагнул по двору к большому, но обшарпанному дому в цыганской слободе Старого Поселка.

«Мануш-СаSTRUHO путевый был, а сын его — чистый фуцан. Но тем не менее с ним придется говорить», — такова была эта мысль.

Свирепый пес хозяина кинулся было на него, но тут же попятился назад, сдутый мощными флюидами Мату́ты. Поджав хвост, пес ушел за дом, где заскулил, чувствуя, что как раз именно с этим незванным гостем он должен был проявить характер.

Матута шагнул на крыльцо.

— Вообще уйду я от вас к Дусеньке на кар! — услышал он за дверью.

Вслед за этим появился цыган. Он хлопнул за собой дверью что было сил и быстро пошел, чуть не столкнувшись лбом с Мату́той. Матута хмуро остановился. Цыган смутился и обошел гангстера, прихрамывая на одну ногу.

Матута был сейчас в таком настроении, что ему дела не было ни до этого цыгана, ни до правосудия, которое свершилось в гостиной барона. Ни до мальчика, который был в зале, только что очистил лезвие финки от крови и положил за голенище сапожка. Барон СаSTRUHO-Младший сидел в кресле у камина. Он только что свершил третейский суд. Если вкратце, то дело было такое. К нему с жалобой явился этот пацан, сын того цыгана, который как раз вышел, хлопнув дверью. Отец требовал от сына часть его дневной выручки, на что сын однажды ответил отказом. Тогда отец в гневе проколол сыну

бедро серпом. Жалобщик-сын настаивал на своем, говоря, что ему уже восемь лет, женитьба не за горами, так что надо собирать деньги на самостоятельную жизнь, к тому же он и теперь помогает матери, скромной уларке. Отец же женился на русской, на стерве Дусе из Маяка, пропадает у нее, пьет и ни кара не делает. Барон постановил, что мальчик может получить удовлетворение, что тут же и было исполнено, — мальчик пырнул в бедро ножом непутевого батьку.

Увидев Матуту, барон издал радостное восклицание, встал и направился навстречу, успев цынкануть пацану, чтобы тот убрался. Цыганок положил свой подарок — серебряную медаль, выдаваемую отличникам по окончании средней школы — и вылетел из комнаты. Барон пошел с распростертыми объятиями, как всегда при встрече с гангстером, собираясь в последний момент сузить эти объятия до сердечного пожатия руки этими двумя руками. Но по дороге он оценил обстановку, тут же догадался, что гангстер к нему не с требованием, а с некоей просьбой, и потому, подойдя к нему, решительно обнял и прижал гостя к груди. Сухо, но терпеливо Матута позволил барону эту фамильярность.

Покончив с обычными расспросами про житье-бытье и выслушав жалобы барона, что цыганы таперича как бы не цыгане вовсе, Матута уселся у камина и спросил:

— Где твоя сестра?

— Которая сестра? — насторожился барон.

Чертовски Симпатичная Цыганочка, чей взгляд пьянит.

Чертовски Симпатичная Туриха, виновница моей Смутной Тревоги.

О, мне нужна дева, чьей косой возможно стреножить жеребца, чьи глаза темнее налитого винограда, чье тело матово, чьи плечи покаты, а шея как росток, чей стан гибок, а бедра упруги.

О, спешу, я хочу взглянуть на деву, которой суждено иметь надо мною власть.

Нечто вроде этого заклокотало в Матуте, но вслух он произнес:

— А которая на базаре гадает.

— Дарико? — нахмурился барон.

На его лице, как мыльная пена, когда в бане вдруг кончается вода, все еще оставалось дружелюбное выражение. Он имел дело с Матутой и желал иметь дело и дальше как с паханом преступного мира, но когда речь заходила о семье, тем более о самой ценной сестре, тут же Матута превращался в глазах барона в презренного гаджио, одного из тех, от которых тысячи лет цыганство отгораживается, не желая с ними смешиваться, и изобрело для этого самый лучший способ — жить таким образом, чтобы у самих гаджио не появлялось желания смешиваться с цыганами. Тем не менее он произнес с мягкостью, чтобы сразу не идти на конфликт:

— Она ребенок еще, Матута.

— Хорошо! У тебя жены есть помладше!

— Оставим этот разговор, а?

— Будет лучше, если поговорим по-деловому, — предложил Матута с известным в городе спокойствием.

Он тоже не хотел идти на конфликт, но проявить жесткость надо было. С презрением жиган проследил за рукой барона, нащупавшей оружие за поясом. Барон стал приподниматься.

— Короче, сядь! — приказал Матута голосом, от которого барон покорно сел, но руку продолжал держать за пазухой, что, впрочем, не оказывало на Матуту никакого воздействия.

Барон вздохнул. Матута заговорил спокойным и деловым тоном. Он

сделает дело, чтобы сухумская табачная фабрика закрылась на ремонт, пока цыгане не реализуют свои запасы «Космоса» и «Примы». Это первое. В ближайшее время бывшие комсомольцы привезут партию «Мальборо», и он даст возможность взять оптом полмиллиона пачек лишь за три рубля сверху. Это второе. Третье: отныне в двух главных точках — на базаре и Проспекте Мира, кроме главпочтамта — рэкет не станет беспокоить цыган. Четвертое: на этих объектах долю будет брать сам Матута, причем снизив налог до десяти процентов. И пятое, он сделает дело у верховного прокурора, за 100 тысяч, а также выпишет адвоката, который обойдется барону в 40 тысяч, чтобы брат барона, сидящий за убийство, пошел не по 104-й, а по 105-й статье, где он получит только шесть лет, сидеть будет в Гегуте, где зону кнокает чернота, и выйдет на волю за два года.

И, наконец, шестое: пацанка нужна Матуте не как бикса, а *почти как жена*, и она будет жить в доме Матуты и рожать ему детей.

Барон заволновался. Барон просто обалдел. У него глаза на лоб повывлезли от предложенного. От радости Саструно-Младший чуть не нажал на курок пистолета за пазухой. Он чуть не сделал то, что сделал с собой Коява-Четвертый, который три месяца тому назад то ли случайно, то ли сердясь на него за неверность, прострелил свой кар. Барон встал и заходил по комнате.

— В натуре, Матута? — барон поправил серьгу в ухе и застенчиво заглянул в глаза Матуте, тоном вопроса выражая свое абсолютное согласие.

Он знал, что с Дарико на базаре случилось Эмоциональное Включение. Об этом ему доложили уларки, которые час назад шумно влетели к нему во двор, ведя отрешенно улыбающуюся Дарико. Но барон не подозревал, что причиной этому был всемогущий Матута. Он почесал за серьгой. Саструно-Младший знал, что Дарико — необыкновенная чавела, и собирался продавать ее недешево, но предложенные Матутой условия превзошли все мыслимые для барона пределы. Он тут же прикинул выгоды, которые сулили ему покровительство Матуты и его конкретные предложения, и пожалел про себя, что деньги так стремительно портились.

— Но, Матута... — пробормотал он.

— Веди ее сюда! — приказал гангстер.

Барон решительно выхватил из-за пояса никелированный браунинг калибра 7,65.

— Матута, это я дарю тебе! — сказал он и протянул браунинг будущему сродственнику.

Матута принял оружие без эмоций, как ритуальный дар.

Барон хлопнул в ладоши. Жена его тут же зашла: она, безусловно, стояла за дверью. На яростно-мелодичном цыганском наречье барон стал давать ей распоряжения. Матута, тогда еще не понимавший этого языка, только и разобрал «Дарико» и «юбка». Было ясно, что барон приказывает вести Дарико, нарядив в лучшие юбки табора. Звеня настоящими драгоценностями, жена послушно удалилась.

Цыганку привели. Она появилась в дверях, и рассеянный взгляд ее скользнул по Матуте. Десятки любопытных голов выглядывали из-за ее спины. Матута остолбенел. Она не узнала его! Лишь в первую секунду, но не узнала! Да и как она могла узнать гаджио, когда его в действительности не видела! Она видела его ладонь и глаза — и больше ничего, если не считать того, что при первой встрече на базаре окинула его обобщенным взглядом.

Но получилось так, что смущенная цыганочка и тут не уследила за своим взглядом. Глаза ее встретились с глазами гостя. И она узнала в Матуте того самого гаджио по искрам, посыпавшимся от скрещения их взглядов.

Барон что-то сказал сестре по-цыгански властным тоном. Потом, обратившись к Матуте, добавил демократично:

— Поговори с ней сам, — и удалился за ширму.

Дарико побежала к брату.

— Ступай к нему! — приказал барон из-за ширмы.

Цыганка вернулась и направилась к Матуте. Походка ее была угловатой от растерянности и смущения. А когда подошла к нему, она проделала то, на что сам Матута в эту минуту не дерзнул бы. Приподнявшись на цыпочках, она обняла ручонками его шею. И заглянула в глаза. Взгляд ее не излучал ни плутовства, ни гипнотического конуса. Казалось, он был от стыдливости повернут вовнутрь. И движения ее были какие-то неестественные, словно она старалась добросовестно повторить задание, как юная студийка.

Однако природа тут же вступила в силу. Хрупкая, дрожащая, она прильнула к нему.

Матута замешкался. Обнять девчонку он мог, в этом не было проблем. Но дело было в том, что, сухой я буду, Матута никогда в жизни не целовался. Жиган суровых нравов, он считал, что это запаadlo. Никогда он этого не делал ни с одной из своих женщин. Даже в лагере, когда он воображал Любку Орлову из кино «Волга-Волга», он не воображал себя целующимся с ней. Еще недавно он катком бы переехал любого, кто б смел предположить, что Матута способен на это. Но так бы его и послушалась сейчас природа, властно завладевшая его Волей! Подчиняясь ей, он позорно отворил свою пасть навстречу ее губам. Поцелуй оказался головокружительным, как утренний чифир с сахаринном.

А потом Дарико, не отрываясь от жениха, приникла головой к его груди, вместо желанного покоя найдя внутри нее гудение сердца, точнее, души.

— О, Бара Дэвла! — прошептала она еле слышно.

Когда на улице, где Матута не помнил, как очутился, пес снова оскалил-ся было на него, жиган даже не успел шлепнуть его по морде флюидами. Весь табор, собранный во дворе барона слухом о сватовстве, накинудся на пса, громко кляня его за то, что рычит на родственника. Было решено, что детали обговаривать назавтра, и Матута уехал домой. Точнее не домой, — дома у Матуты не было, — а на свою квартиру, где он проживал с матерью. Отперев дверь ключом, Матута на цыпочках прокрался в лоджию, чтобы не разбудить маму. Единственное, что ему хотелось после целого дня волнений, — Этого Самого. Конечно, стоило ему позвонить, как ему все принесли бы немедленно. Но телефон был в комнате, где спала мама. Матута уселся на кушетку, уставившись в полку книг напротив. Он отлично помнил, что как-то закладывал в книгу один пакет. Но попробуй найти нужную книгу. А книг у Матуты было много: и тех, что были собраны мамой, и тех, что он брал в книготорге на принцип.

От внезапного одиночества состояние у него было прескверное. Надо было непременно выловить нужную книгу из рядов на полке и найти пакет Этого Самого.

Почему-то Матута поднял ноги на кушетку и скрестил их под задницей. Потом он выправил осанку, вытянул руки, поставил их ладонями на колени и так и сел. Закрыв глаза и расслабился, как последний идиот. Дышал медленно и размеренно. Так он просидел очень долго, сосредоточась на чем-то бесформенном, бессодержательном и бессмысленном. И мгновенное озарение посетило его.

Он встал, уверенно подошел к нужной полке и вытащил искомую книгу. Пакет аккуратненько лежал между обложкой и титульным листом. Но в следующий миг его больше заинтересовала сама книга. Это была она. Он и не знал, что эта книга есть в его собственной библиотеке. Это была та книга,

которую он штудировал на Магадане, не зная ее названия и автора. «З. ФРЕЙД. ТОТЕМ И ТАБУ», — прочитал он.

Восемь состояний составляли сущность Матуты: *Порядочность, Справедливость, Решительность, Честь, Зловещее Обаяние, Обостренное Чутье, Радостное Предчувствие и Смутная Тревога* — как восемь лучей *Звезды Жигана*.

О великолепных городах

Водитель автобуса против птиц ничего не имел, только собаку не стал пускать в салон, требуя то ли намордника, то ли охотничьего сезона. Но пассажиры дружным хором вступились за Могеля и его спутников. Шофера чуть не обвинили в политике. «Человек отправился в поход на запад, а ты будешь ему препятствовать? Из-за таких, как ты, нас 46%, а могло быть...» Шофер сдался.

— А дворняга-то зачем *в поход на запад*? — только поворчал он слегка. — Сидела бы дома.

Могель, который тоже так считал, не возразил. А Мазакуаль подумала, только сказать не могла:

— Показала бы тебе, какая я дворняга, доберись до твоего курятника!

Могель устроился сзади, загнав птиц под сиденье. Собака притихла в ногах. Ехали быстро. За окном, кстати, уже давно *буйствовала диковинная природа*, и сладостный аромат врывается в открытые окна автобуса.

— Это Сухум? — спросил осторожно Могель, потому что за окном было нечто, подобное городу.

— Гульрипш, слушай, Гульрипш, — объяснил водитель.

Там на площади шел митинг. Те же флаги и транспаранты, те же надрывные голоса ораторов с трибуны. Все это примелькалось уже дома.

— Доведут они нас, — вздохнул старик, сидевший рядом с Могелем. — Что имеем тоже потеряем.

— Как Жордания не добился прошлой эртобы, так и эту эртобу не даст Россия провести, — поддержал старика другой старик. — *Только зря погубят молодежь*.

Могель сейчас был почти согласен со стариками, несмотря на то, что его самого в деревне записывали в Общество Ильи Праведного и хельсинкскую группу, с условием, что его присутствия на собраниях не потребуется.

Но на слова стариков тут же включились женщины и поднялся гвалт. Только спору не суждено было продолжаться: в салоне оказались абхазы.

— У абхазского князя... — начал было один из абхазов, но спутник одернул его со словами:

— Сказал же *Имярекба*, что пока надо терпеть.

Ощущая собаку и птиц в ногах, Могель озирался по сторонам. Все эти разговоры ему были неинтересны. Ехали берегом моря. Но напряжение чувствовалось. Его невозможно было не заметить. Сам воздух был начинен напряжением.

Въехали в столицу. Уже темно. Электричество горело, но настолько слабое, что свет из окон был тускл, как от керосиновых ламп. И никакого городского освещения. Автобус то и дело останавливался и постепенно пустел. Огромная тоска объяла Могеля.

Когда водитель объявил, что приехали, что уже центр города, Могель удивился. Центр был совершенно пуст и безлюден. Он извлек из сумы адрес брата и обратился к соседу. При этом его голос уже был готов сорваться на плач. Пассажир объяснил, как найти нужный дом.

— А за багаж кто будет платить? — заявил при выходе водитель.

— Какой еще багаж? — возмутился Могель, но часть багажа, то есть собака, притерлась к нему, предлагая не спорить. Могель отдал шоферу двойную плату.

Ему хотелось еще раз уточнить адрес. Редкие прохожие были то ли неприветливы, то ли напуганы. Но многоквартирку, где жил Энгештер, он все-таки нашел. Квартира брата была расположена на первом этаже. На двери на меди была выгравирована родная фамилия Могеля и брата. Но Могель пребывал в таком подавленном настроении, что постучаться не хватило духу. Он уселся на ступени лестницы около двери, громко оплакивая свою судьбу.

*Ну, поведай добрым людям, сладкозвучный мой чонгури,
О моей печали люттой, —*

пел он, подпирая щеку то правой, то левой ладонью в зависимости от того, куда склонялась голова в такт песни и тоски. Птицы были тут, а Мазакуаль уже убежала, наверное, чтобы изучить окрестности на предмет наличия птичьего двора.

У подъезда остановилась иномарка, уже знакомая Могелю. Хозяин машины приспустил стекло, и холодный его взгляд, как тень, на мгновение упал на Могеля, но не узнал его. Машина бесшумно отъехала. Могель продолжал причитать. Он еще вспомнил крестьянскую байку о красавице-гречанке, которая помогла Матуте бежать от органов в день суда.

Наконец открылась дверь, что была напротив двери брата.

— Ты к кому, парень?

Могель проворно вскочил и ответил.

— Почему не позвонил? — сказал сосед и сам позвонил в дверь. — Фина, к вам гость, — крикнул он в дверь, когда за ней послышалось шарканье мягких домашних туфель.

— Минуточку, — послышалось за дверью.

Сосед, убедившись, что люди там есть, вернулся к себе за железную дверь.

Но почти родная дверь все не открывалась. Могель опять сел на ступени и начал свою заунывную песню.

*О том народе,
что всегда смеется вместе с братьями,
а вздыхает в одиночестве,
рассказать может только чонгури.*

*Под дребезжанье трех волос,
выщипанных из хвоста трудяги-мерина,
споем вам одинокий юноша песню,
в которой вместились
и тоска веков, проплывающих мимо,
и тоска хулимого народа,
и тоска страны его,
где на болотах — ольха да граб,
где развалины церковей заросли терном,
где слезами залиты пороги.*

*Не из мутных рек поила ты своих детей,
влажная страна,
а из родников, обитых камнем.*

*Только подрастая они уходили прочь, —
от нищеты, бесплодия, страха, —
чтобы в чуждых-родных краях
обрести достаток и покой,
но потерять свое имя
и даже речь.*

*Страна,
чья праздники
не обходились без сродственников,
и только в дни
пожарищ, труса, глада и гнева соседей
оставалась одна.*

*О, родной,
неуютный,
неплодородный,
неединственный край!
О, родной,
неповторимый,
непризнанный,
неединственный язык!
О, слезами залитый порог!*

Наконец, по ту сторону двери зазвенели ключи. Могель замолк и вскочил. Дверь открылась, и у ног его ковром расстелился свет. В дверях появилась его невестка Джозефина, которую он видел только однажды, на похоронах отца. Сейчас она была в тонком и таком шикарном халате, что Могелю показалось: имей он в руках его цену, ему бы удалось и прописаться, и работу найти.

Кто ты, пришлец полунощный, чьи неизбывны печали?

— заворковал ее мягкий и добрый гекзаметр.

Близоруко щуря красивые глаза, она наконец узнала родственника.

*Полно стоять у дверей, словно раненый в сердце Эротом:
Смело шагни же в обитель единоутробного брата!*

— сказала она, с порога подтверждая мнение о своей приветливости и человечности.

Однако прежде чем шагнуть в прихожую, Могель засуетился, пытаясь сбросить с ног глиняную обувку. Жена брата с родственной грубостью схватила его за рукав и втащила в дом.

— А что это? — спросила она, указывая на птиц.

— Это вам, — пробормотал Могель, целомудренно отстраняясь от невестки в тесной прихожей.

Джозефина раздумывала секунду, потом ушла в боковую дверь.

— Почему ты не разуваешься? — ласково спросила она, появившись в более грубом халате поверх того, что на ней был. — Я запрю индеек в сарае. Зачем беспокоился! — сказала она и оставила Могеля одного.

Хорошо, что она не видела собаки, подумал Могель. Оставшись в прихожей, он стал лихорадочно освобождаться от глиняной обуви. Разулся, выскреб из обуви траву и сгреб в карман. Суетливо перекладывая обувку из одной руки в другую, вместо того, чтобы сунуть ее куда-нибудь, он начал

доставать свои мокасины. Ему хотелось обуться, пока вернется невестка. Он обулся. Невестка вернулась, но зеркальный паркет прихожей был так гладко отполирован, что на новых подошвах Могель вдруг заскользил, как на приз газеты «Нувель де Москву». Могель скользил и хватался за стены, за шкаф, но не мог остановиться. Этому пыталась соответствовать классическая музыка из зала, где, очевидно, играл телевизор. Наконец Могель случайно ухватился за что-то мягкое. Это была она. Ему показалось, что и невестка смутилась и покраснела, однако, она с родственной грубостью обняла его и прижала к себе.

— Снимай туфли и надевай тапки, — сказала она мягко.

Продолжая глупо опираться на невестку, он скинул злополучные мокасины и швырнул их обратно в суму. Ощутил, наконец, твердь под ногами. Невестка улыбнулась так родственно, что смущение его как рукой сняло. Могель невольно разглядел ее. Отметил про себя, что жена брата статна и полногруда, в декольте ее халатов было видно белое тело, талия была тонка, а бедра округлы, а сама невестка оказалась характером приветлива, и Могель порадовался за старшего брата, что тот имеет такую славную жену.

Джозефина с родственной грубостью втолкнула его в таинственный мир ванны. Могель прикрыл дверь и долго осваивался тут, восхищенно разглядывая голубые раковины-шампуни, шампуни-бадузаны, и там же дал себе слово, что добьется для себя такой же ванны, а домой вернется не иначе, как на собственном «Москвиче».

Джозефина же открыла нижнюю створку шкафа-вешалки и поставила глиняную обувь Могеля рядом с точно такой же глиняной обувью, только почерневшей от времени. То были башмаки, в которых прошел в свое время его брат Энгештер свой бесшумный поход.

*Как, шагнув через порог, я увлажнил порог слезами,
Ты поведай добрым людям, сладкозвучный мой чонгури!*

.....

О ловцах рыб и о сеятелях

Русалке наскучило бессмертие. Она думала, что все, что могло произойти, уже произошло и ничему новому не быть. Но новое подкралось незаметно.

Это было в то прекрасное весеннее утро, когда Григорий Лагустанович с двумя соседями пошел удобрять свое кукурузное поле, которое находилось чуть повыше его усадьбы. Небольшое поле ему выделялось самими крестьянами, как патриоту села.

Возможно, мы и отвлечемся, но необходимо поведать читательницам о том замечательном случае... Лагустанович, даже спеша на охоту или рыбалку, всегда находил время, чтобы поинтересоваться, как живут простые люди. И сейчас, несмотря на то, что надо было торопиться, пока солнце не стало припекать, — случай с Хаттом прошлым летом был еще свеж в памяти, — Лагустанович нашел время побеседовать с замечательным крестьянином, которого он впервые видел. Он в общем-то остановился потому, что его внимание привлек странный дом этого человека. Это был ампир — не ампир, барокко — не барокко. Дом был трехэтажный и со всех сторон на всех этажах был облеплен балконами, и не просто балконами, а висячими. Сколько неведомых талантов таится в недрах наших сел, подумал Лагустанович с гордостью. Он решил при первой же возможности этому народному умельцу помочь.

— Как твои имя-фамилия, добрый крестьянин? — спросил он.

— Нарсия Ладимер.

— Паха, где ты выискал такое имя? Или ты не знаешь, кому врешь! — возмутились крестьяне, сопровождавшие Лагустановича.

— Я так записан в шнуровой книге, уважаемые соседи, — ответил Паха. — А великого Григория Лагустановича мне ли не знать!

Лагустановичу понравился этот простой крестьянин.

— *Здорова ли семья?* — спросил он.

— Слава Отцу, все здоровы и *без вины!* — ответил Паха смущенно, хотя сестра никак не поправлялась после падения с волка, он не стал грузить начальника своими проблемами.

— *Цел ли скот?*

— Слава Отцу, чью Золотую Стопу мы можем узреть!

— *Есть ли помощник по хозяйству?*

И тут произошел первый казус. Очередным вопросом Лагустанович поинтересовался, есть ли жена у крестьянина, деликатно назвав ее помощницей по хозяйству. Но поскольку в абхазских существительных род не выражен, а по обычаю расспрашивать мужа о жене не принято, Паха рассудил, что начальник интересуется, есть ли у него *бродяга, помогающий* как раз по хозяйству. Пахе надо было отвечать осторожно. Бродяг держать в доме по закону не положено, об этом всегда говорит бригадир. Но и утаивать от доброго начальника...

— Не скрою от тебя, дражайший: есть у меня с некоторых пор бродяга, но странный, — заговорил он.

— Бродяга есть? И странный? А в чем его странность? — пришлось спросить Лагустановичу.

Он был далеко не в восторге, что его вопрос неправильно понят. Еще анекдот родится: вон, крестьяне поотворачивались, улыбки прячут. Ему надо было задать серию дежурных вопросов, получить на них дежурные ответы — и в путь. Помочь крестьянину он все равно собирался. И крестьяне это знали: разговорился с тобой — помощи жди.

— Бродяга немолодой, но довольно крепкий. Только не знает ни по-нашему, ни по-русски. А ехал он на велосипеде.

Первая мысль, которая пришла в голову Лагустановичу: а вдруг — шпион!

— И что ты с ним делаешь?

— Отнял у него паспорт, тоже не нашенский, — признался Паха. — А с работой сам справляюсь. Неловко как-то: ровесник моего отца!

Вы, вероятно, догадались, что в плен к доброму Пахе попал мосье Крачковски собственной персоной! Вот такие анекдотические случаи имеют быть у нас порой.

— Позвать его, дражайший!

Лагустанович повелел и привели французского спортсмена. Он шел, широко улыбаясь: Лагустанович понял, что жаловаться ему спортсмен не станет. Ну, и слава Богу!

Лагустанович был интеллигент советской школы и, к сожалению, европейских языков не знал. Но, удивительное дело, индусское наречье Шри-Ланки, которое знал француз, поскольку ему часто приходилось устраивать велопробеги на этом острове, истерзанном тиграми Тамил-Илама, — так вот, это наречье в некотором роде совпадало с цыганским наречьем, которое знал Лагустанович. Ведь цыгане — выходцы из Индии!

— *Дел де марел три года!* — воскликнул по-цыгански Лагустанович, узнав, какой тут казус приключился.

— *Дел де марел три года!* — согласился по-цейлонски мосье Крачковски и фамильярно похлопал его по плечу.

Крепкие выражения наиболее консервативны в языках и менее всего подвержены изменению.

Конфликт был улажен. Посмеялись. Лагустанович извинился перед гостем, что сию минуту не может сопровождать его до дому. Он велел Пахе отвести гостя и передать домработнице распоряжение, чтобы ему были предоставлены все цивилизованные условия.

Посмеиваясь над этим утренним приключением, Лагустанович и крестьяне направились к кукурузному полю.

Соседи не позволили пожилому Лагустановичу работать на солнцепеке — после случая с Хаттом они были к этому особенно внимательны, — и Лагустанович сидел в тени, поминутно благодаря крестьян, пока те подсыпали под кукурузные стебельки особое снадобье из бумажных мешков, от которого кукуруза буйно росла и лучше плодоносила, а сорная трава не могла и голову высунуть из-под земли.

Когда работа была закончена, осталось два лишних мешка. Чтобы они не валялись в поле, Лагустанович и его друзья решили высыпать остаток в реку. Вещество было такое белоснежное, такое привлекательное, что хотелось попробовать его на вкус. Прикоснувшись к воде, оно растворялось мгновенно — так мгновенно, словно и не было этой красоты. И тут же ноги крестьянина, который высыпал удобрение, стоя при этом по колено в воде, почувствовали, что вода стала холодной-холодной, словно горный поток. Что-то странное, разрушающее привычное отношение к вещам, было в этом мгновенном переходе материи в бесплотное свойство.

— Вот и все, — сказал Лагустанович. — Теперь пойдем, покажем наше гостеприимство французу! Угостим его на славу, а потом поведем на сельский праздник. Иностранцы обожают разные обычаи.

И все трое, мирно переговариваясь, пошли к дому Лагустановича. Там их ждало сытное угощение. Мосье Крачковски уже успел принять ванну, о которой он так мечтал, и, переодетый, возился со своим железным конем.

Лагустанович любил рыбные закуски. Селедку он предпочитал в оливковом масле, а балычок разрезал сам, считая, что домработница это делает не так аппетитно. Замагропрома Аветисов отвечал за исправную поставку *ишхана*, который водится только в озере Севан. К нему очень шло эчмиадзинское крепкое, если им не злоупотреблять. А злоупотребить — захочется вдруг стать армянином, и не просто армянином, а армянским монахом, и можешь спяну дать обет, что никогда не выйдешь за ворота эчмиадзинского монастыря. Любой самый скромный стол у Лагустановича не обходился без *джонджоли* малого посола. Его зам по идеологии отвечал за джонджоли и за кахетинское терпкое. Тоже не смейте перепивать, любил за столом пошутить Лагустанович, не то воскликнете: «Эртоба!». Он вообще был поклонник рыбы. Он сам на речке за домом развел-таки карпов. Лагустанович пригласил гостя взглянуть на пруд.

Соседи уже видели этот замечательный пруд, сами его рыли, но тоже пошли, пока накрывалось на стол. Подойдя близко, они нашли пруд совершенно зеркальным. Тут только и сообразили, что высыпали *суперфосфат* сверху по реке. Глупые карпы всплыли, все до одного. Только малую часть удалось потом сбить в дорресторан, да и то за бесценку. Остальное пришлось скормить свиньям. Есть отравленную рыбу Лагустанович соседям не посоветовал.

А пока Лагустанович сказал:

— Ну и черт с ними, дел де марел три года! Стоит ли расстраиваться. Перекусим у меня, выпьем по паре чарочек — и выйдем на праздник.

В деньгах он особой нужды не имел, жаль было только затраченного труда.

Когда холод почувствовали кривые русалочьи ноги и когда сама русалка ощутила что-то неладное, вся река была уже в движении. Ноги ее коченели. Русалка выскочила из воды. И рыбы, — лобаны, сомы, бычки, маленькие щуки, — и змеевидные рыбы, и сами змеи, и даже черепахи, и даже лягушки мчались, теснясь, вниз по течению.

— Что вы делаете? — вскричала адзызлан. Бывшая Владычица Рек и Вод узнала новость последней.

Новость мчалась по реке, наступая рыбам на хвосты, — новость, отливавшая радугой, где все цвета были налицо, но только грязнее, чем в радуге водяных брызг. Эта радуга мчалась вниз по реке, издавая незнакомую вонь, от этой радуги шарахалось все живое, эта радуга убивала цветущую воду реки.

— Остановитесь! — вскричала русалка, но ее никто не слушал. Она познала горечь полководца, чье войско обратилось в паническое бегство.

Кефаль, вышедшая рано утром в устье реки, заметив собратьев, безумно устремившихся к спасительному морю, еще ничего не поняв, поспешила назад. Там, где река, образовав широкое устье, затем узкой полоской входит в море, вся речная живность смешалась с холеным племенем кефалей и устроила давку, как если бы это были люди.

Сама смерть, переливаясь черной радугой, источая незнакомый омерзительный смрад, пронеслась по телу последней реки села. Таково было свойство белоснежного вещества, ссыпанного в воду.

С ужасом и отвращением побежала русалка прочь от своей древней обители. Она бежала, спотыкаясь вывернутыми ступнями, и была сейчас всего лишь беззащитной женщиной. Русалка пустилась по проселочной дороге. Был час после полудня, и в деревне между отравленными речками началось непонятное ей торжество. Шли люди, неся портрет вместо чучела, но при этом никто, никто не видел русалки, не слышал ее испуганного плача. Неосяцаемая, она пробежала сквозь толпу. Тело русалки, данное в ощущениях только ей, было переполнено ужасом.

Свернув с дороги, она побежала к дому Хатта, к последнему Хатту, чей предок разделил с ней когда-то ее травянистое ложе, к последнему Хатту, женщинам дома которого она открывала тайны целебных трав и вод.

Она бежала, боясь еще раз вдохнуть отвратительную вонь грязной радуги. Она бежала и ощущала свое дрожащее от испуга тело. Русалке казалось, что тело ее тяжелеет, и она слышит звук своих шагов. Но думала, что это от усталости.

Наконец она добежала до дома Хатта. В пустынной усадьбе последнего Хатта, огороженной старым замшелым частоколом, на пустынной лужайке перед домом последнего Хатта, где паслась тощая коровенка, русалка почувствовала себя в безопасности и отдышалась.

Она зажмурила и открыла глаза. Напротив нее стоял черный пес. Пес учуял ее! — залаял на нее! — услышал! — потому что тоска и ужас вернули русалке плоть.

Пес подошел к ней совсем близко, но русалка и не вспомнила о своем древнем страхе перед черным псом. С нежностью и торжеством она ощущала свою пышную, дрожащую в ознобе плоть.

Черный пес дружелюбно обнюхал ее. Русалка пахла тиной и рыбьим духом. Тявкнув и вильнув хвостом, он побежал к амбару, словно указывая ей дорогу. Она покорно пошла за ним.

Русалка забралась на балкончик амбара и легла на спину — нежной кожей на сваленные там ржавые инструменты. Золотые волны ее волос, свешиваясь с крылечка, падали вниз. По волосам текли слезы, скатываясь в пыль — в пыль, по которой волочились, тронутые ветерком, концы ее расплетенной косы. Она лежала неподвижно и смотрела в чуждо-светлое небо, и лишь пальцы ее вывернутых ног понуро свешивались вниз.

Последний Хатт в честь праздника зашел в дорресторан и потому задерживался. Вернулась с прополки кукурузы его жена.

Она подошла к госте, лежавшей навзничь на крылечке амбара, и вдруг бессознательно проделала то, чего требовала память крови: осторожно приподняв золотые волосы, положила их рядом с русалкой. На сей раз русалка не притворилась спящей. Она присела, свесив уродливые ножки. Хозяйка стояла на третьей ступеньке приставной лестницы. Краем грязного передника она утерла слезы на иссиня-белых щеках Владычицы Рек и Вод.

Но не говорила, боясь, как бы русалка, истосковавшаяся по применению своих чар, не ввергла ее в немоту.

А вечером вернулся домой последний Хатт. Он вошел во двор, шагая против девичьих следов.

О рожденных в пути

Григорий Лагустанович сидел в своем служебном кабинете, рассеянно отвечая на обкомовский и совминовский телефоны, а прочие отключив к секретарше. Время приближалось к обеденному перерыву. Это было вскоре после заявления Григория Лагустановича в обком с просьбой разрешить переход на полную творческую деятельность. В предбаннике кабинета томилась его секретарша Джозефина. О заявлении она еще не знала. Томилась она потому, что сегодня у нее была деликатная просьба к шефу. Она хотела сказать ему прямо; хитрить и ловчить Джозефина не умела и не желала.

Лагустанович думал о том, как, уйдя на покой, он с наслаждением отдастся творчеству, а его преемник очень скоро покажет им, — он покосился на непереключенные телефоны, — кого они кем заменили. Ну и пусть, ему возиться с этими неформалами. Еще он думал о том, что достиг в жизни высоты положения, возможной для сына третьестепенного автономного народа, широты охвата действительности и глубины познания тайн бытия, но на это ушла вся деятельная часть жизни, а он так и не понял, *далеко ли до хвоста земли! Далеко ли до края земли, мама?* Также Лагустанович размышлял о том, что, уйдя на пенсию, он поселится на усадьбе и редко будет наезжать в город. Он так и сказал супруге: оставим Хасика одного на городской квартире, проголодается — еще как женится. Мы же поселимся поближе к народу.

В нечастые приезды в город Григорий Лагустанович заведет обыкновенные с четками и тростью разгуливать по набережной, неторопливо пить кофе с интеллигенцией, для которой, неблагодарной, так много сделал. При этом, мечты мечтами, но он понимал, что в городе бывать ему все-таки придется и что он правильно сделал, сохранив за собой машину и водителя, ибо Лагустанович был не только государственный, но и общественный деятель, и его присутствие на многих мероприятиях оставалось необходимым.

Из раздумий его вывел шум в приемной. Не с прежней охотой в последнее время принимал посетителей Лагустанович, тем более в неприемные дни. Он надеялся, что секретарша никого не пустит. Но по шуму было ясно, что визитер случился напористый. Вскоре тот ворвался в кабинет, одолев вход, который грудями защищала секретарша. Посетитель оказался не кто иной, как цыганский барон Бомбора. Лагустанович его сразу узнал, а тот его нет. А существует ли он, *хвост земли?* То есть Лагустановича барон, конечно, знал, потому что кто мог не знать Лагустановича в городе, но цыган не признал в начальнике брата, о чем ниже. А Лагустановичу было известно даже, что сестра барона вышла замуж за гангстера Матуту Хатта. Не узнавая в Лагустановиче брата-*гаджио*, зато зная по городу о характере начальника,

суровом, но справедливом, цыган явно приготовился к скандалу и даже выпил для храбрости граммов двести барбарисовой чачи.

— Говорите, товарищ депутат, почему наши дети *дела-дела** на глазах у иностранных туристов! — заговорил барон. — Тогда дайте хоть одному романэ раскрутиться, *дел де марел три года*, — требовал он, под «хоть одним» имея в виду себя. — *Кирал***, да не пропиши вы нас в Старом Поселке, были бы мы уже на *хвосте земли!*

Григорий Лагустанович вздрогнул от несправедливости услышанного. Значит, по-ихнему, это он прописал цыган в Старом Поселке Сухума! Это он прервал их великий исход к *хвосту земли!* Но промолчал, ибо считал, что власть должна быть преемственна и брал на себя ответственность за деяния предыдущих руководителей. Вместо ответа он ясно взглянул на барона и, указывая на место рядом с собой на диване, грустно произнес:

— Вам всем кажется, что я тут все решаю сам! Садись, чего стоишь!

Прекрасно знакомым Лагустановичу движением своего отца цыган почесал за ухом с серьгой, и все же, несмотря на замечательное сходство, он был не чета отцу, Кукуне Манушу-Састрүно, что Лагустанович отметил с сожалением.

Барон не упустил возможности посидеть на диване с начальством. Это оказалось непросто. Он сопел и старался ртом не дышать, чтобы не разило перегаром. Но начальник, казалось, этого не замечал.

Дело у барона было пустячное. Он просил шифера для крыши. Конечно, шифера он сам мог купить на пол-Сухума. Зашел же он для того, чтобы потом рассказывать, как *ногой открыл* дверь к большому начальству, которого все боятся, и как дерзко там говорил. Лагустанович пробежал глазами засаленую бумажку барона и поднял глаза. Бомбора пытался сидеть с развязным видом, но присмирел. Бостоновый пиджак, который казался мешковатым из-за плохого покроя, на самом деле теснил все еще мощный торс стареющего цыгана. Лицо у барона было морщинистое, намного старше, чем у Лагустановича, довольно благообразное, и лишь некоторая суетливость во взгляде мешала цыгану быть величавым, каким был его отец.

— *Элла-мондо, кар, чавела бен!**** — чуть не сказал Лагустанович барону.

Когда-то он поклялся быть ему братом, но не клялся же напоминать о себе, если его забудут. Он заговорил запросто, но не слишком, чтобы окончательно не смутить ничего не подозревающего цыгана. В отличие от других руководящих лиц, любивших смутить посетителя холодностью или резкостью, Григорий Лагустанович вводил в замешательство непривычным в кабинетах задушевым обращением. И еще тем, что с проницательностью, наращенной в результате творческого труда, угадывал и предвещал желания народа. Но ему всегда было больно видеть, как народ, удовлетворившись в просьбе, начинал шаркать и суетиться. Лагустанович сам вышел из народа и с высоты государственного поста ему особенно были видны его, народа, проблемы.

Он был прост, но внимателен.

— Мы рассмотрим твою просьбу, — сказал он. — Думается, нам удастся помочь тебе в строительстве дома. Завтра утром к тебе приедет инженер. Передай ему список всего необходимого и не вздумай платить. Будут также рабочие из ЖЭКа. Если начнут просить денег, гони в шею — их заменят, — роскошествовал Лагустанович. — У тебя есть телефон? — задал он ему странный вопрос.

* Не учатся, не ходят в школу (цыг.).

** Хлесткое цыганское выражение.

*** Привет тебе,..., вольное племя! (цыг.)

Барон, у которого голова пошла кругом, вскричал, поднимая облако барбарисового перегара:

— Как нету! Целых три!

— То есть? — не морщась, учтиво пустил навстречу перегару Лагустанович тонкую струю одеколонного запаха.

— Перед консервной фабрикой, на углу аптеки и еще на троллейбусной остановке.

Барон имел в виду, конечно, автоматы. А что он еще мог иметь в виду: разве цыганам ставят телефоны?! Но Лагустанович все же опять подумал, что нет, не чета он отцу.

— Адрес твой тут записан? Ну и хорошо. Поставят тебе телефон. Ничего не случится, если у одного романэ в доме будет установлен телефон!

У барона глаза проделали то, что они проделывали в минуты крайнего удивления или восторга: повывлезли на лоб. Дел де марел три года, у него будет собственный телефон! Окареют все когда узнают! Вот уж чего цыгану не купить ни за какие деньги! Собственный телефон с собственным номером. Алло, это квартира Мануша-Саструно? Какая на кар квартира! — собственный дом Бомборы, сына Кукуны Мануша-Саструно! Это ему обещает сам известный Лагустанович, который, между прочим, денег не берет, но слов на ветер не бросает.

Лагустанович видел, увы, бурю в душе цыгана. Не желая, чтобы Бомбора суетливо рассыпался в благодарностях, он опередил его вопросом:

— Я слышал, что твоя сестра вышла замуж?

— Да! Да! — соскользнул барон на край дивана. — За абхаза вышла, между прочим! Чистокровного!

— В любой нации есть плохие и есть хорошие. Лишь бы человек был порядочным, — Лагустанович встал и протянул сердечно руку туда, где оказалась бы рука посетителя, если бы он тоже встал, что барон проделал с опозданием. Пожав цыгану руку, начальник заглянул ему в глаза и сердечно улыбнулся — картина, которую Бомбора Кукунович обещал себе запомнить на всю жизнь.

— А преступной деятельностью он уже не занимается? — мягко спросил начальник.

— Нет! Нет! — Бомбора бы задержался, если бы рука не лежала в руке начальника. — Совсем уже не занимается. Цеха кнокает! — воскликнул он восторженно.

— Что он делает с цехами?

Начальник то ли не понял, то ли закидывал удочку.

Лагустанович спрашивал, не продолжает ли зять лихую жизнь, полную страстей и томлений в казенном доме, что могло сделать девушку несчастной. А Бомбора, который, так и есть, не чета отцу — перепугался, не сболтнул ли лишнего о цехах. Эти два недоразумения слились, как барбарисовый перегар и запах мужественного одеколона. Но Лагустанович, напрасно ища взгляд бегающих глаз брата, выправил положение, снова вернув цыгана к ликующей мысли о телефоне.

— На днях тебе поставят телефон. С него ты и позвонишь моей секретарше. Зовут ее Джозефина. Позвонишь и скажешь, все ли жэковцы сделали, как мы распорядились, — сказал начальник как брат родной и похлопал гостя по плечу.

Цыган вылетел и из кабинета, и из приемной, и из присутствия «как шампанская пробка» — так он рассказывал потом там, где считал нужным. Только на улице он пришел в себя и окончательно удостоверился, что произошло все это с ним наяву, а не приснилось спяну. Тут он вспомнил, что даже спасибо начальнику не сказал. Передам через секретаршу по собственному телефону, успокоил он себя.

Он шел по улице, как хмельной, но именно «как». Весь торчок сошел, надо было догнаться, потому что голова была до звона ясна. Он понимал, что все эти инженеры и рабочие ему на кар не нужны, потому что на кару видел их кляузы, и к тому же цыгану, да еще раскрученному, да еще барону, кар кто простил бы халяву. Зашел-то он к начальнику потому, что надо было показать и своим, и в городе, что барон может и к Лагустановичу зайти, ногой дверь открыв, и дело сделать. Это необходимо было ему для авторитета, который ему давался всегда с трудом, тогда как отцу-баламуту все было просто. Но телефон! И еще ему было непонятно, чем был вызван такой сердечный прием у начальника, что даже телефон... Бомбора ничего не понимал, что еще раз свидетельствовало, что он, нося в ухе наследственную серьгу отца своего Кукуны Мануша-Саструно, уступал ему не только в уме, но и в цыганской проницательности.

— Хала, где ты, Бомбора, ха! — радостно заголосили уларки на проспекте Мира, вместо того, чтобы затрепетать при виде своего барона.

Рассеянно и отрешенно послав их на кар, Бомбора Кукунович направился в купатную, где первым делом хлопнул двести граммов российской. Потом приник к стойке, давая зелью разлиться по организму.

Зелье разошлось по телу, и на мозги сошел желанный туман. Барон вспомнил детство, когда его отец вел табор к хвосту земли. Вспомнил маленького гаджио; как этот гаджио запустил в черного кота, пытавшегося перебежать дорогу табору, серпом и молотом. Глаза барона Бомборы уже не выскочили на лоб, а вылетели аж на метр из орбит, подобно шарикам на резинках, которыми торговали его женщины-уларки. Перед ним стоял взгляд начальника, когда тот, как простой человек, подавал ему, цыгану, руку. Барон увидел детство, белого гаджио, с которым в этом самом детстве, сделав надрезы на руках и соединив их, они слили свои разные крови. И поклялись быть братьями по гроб жизни.

Только сейчас цыган понял, что начальник был тот самый гаджио!

Но Бомбора при этом не мог не помнить и того, что сам он был и остается цыганом, и решил, что разумнее будет для него об этом братании помалкивать.

Далеко ли до Хвоста Земли?!

О крае земли

Ну, раз барон решил помалкивать, то на этом должна закончиться зарисовка обычного цыгана без гитар и коней. Но при этом многое остается неясным, и надо вернуться к первоначальному месту действия, а не шататься за персонажем по купатным и кебабным, как это принято у современных авторов. Наберись терпения, читатель! Итак, хорошенькая секретарша Джо-зефина, едва успев проводить взглядом цыгана, когда тот, как ошпаренный, вылетел из кабинета, правильно заключила, что не мог посетитель удалиться таким окрыленным и не оставить самого начальника хотя бы в благодушном настроении. Она встала и подобралась.

А шеф действительно пребывал в благодушном настроении. В этом сомнений быть не могло; он как раз поднес пламя серебряной зажигалки к леденцу в форме петушка, подпалил его и наблюдал, как сахарная муть стекала на настольное стекло.

Но надо же рассказать, почему он жег сахарного петушка! И о цыганской эпопее в детстве Григория Лагустановича, и о том, что тут за история в конце концов.

На долю самых почтенных людей когда-нибудь да выпадали интереснейшие приключения. Быть может, потому иной остепеняется и достигает в жизни многого, что он вовремя получил в ней необходимую долю авантюры,

насытился ею, тогда как другие эту необходимость никак не пополнят, и потому неприкаянны и непочтенны?

Вот и Григорий Лагустанович в детстве был попросту похищен из дому и продан цыганам. И так получилось, что он попал именно к тем цыганам, которые под предводительством барона Мануша-Саструно искали край земли, или, как они выражались, Хвост Земли. Увел Григория Лагустановича из дому бич Ей-Дорофей. Все в этой истории не просто.

Например, спустя пару лет после того, как случилось то, что случилось, Ей-Дорофей снова появился в деревне и спокойно похищение отрицал, объясняя, что дети в его положении ни к чему, что он своих детей раскидал по свету, не то чтобы брать чужих. И никогда ни до, ни после этого случая он не унес из деревни что-либо, что препятствовало бы его возвращению. А к деревне Ей-Дорофей был привязан, раз постоянно возвращался в нее. Лагустанович знал, что этот — бессмертный что-ли — бродяга жив до сих пор. Это раз, а второе: бродяга не посмел бы умышленно увести именно Григория Лагустановича, мальчика с задатками, на которого, без ложной скромности, с надеждой взирала вся деревня.

Маленький Лагустанович собирал цветы на отведенной ему для этого поляне. Он был тогда настолько мал и несмышлен, что сейчас ему неловко о том вспоминать. Жаворонки, раскачиваясь в синем небе, пели ненавязчиво, но впечатляюще, словно для того, чтобы остаться в памяти будущего Григория Лагустановича навсегда. Их пение так же ласкало его слух, как голос мамы, то и дело дававшей знать, что одобряет уединение своего касатика. Ее голос спрашивал: хорошо ли ему на поляне? А хорошо ли было в поле? А так ли счастливо бывает детство, как вспоминается потом? Далеко ли до края земли, мама?

У матери Лагустановича несомненно больше заслуг в его воспитании и становлении, чем у отца, которого он теперь вспоминает с неодобрением.

Григорий Лагустанович играл на поляне, куда иногда убегал от счастливого детства. Но и тут его настигал голос матери. Он махал рукой, он кивал. Шагал он осторожно, чтобы не наступить на эльфов, в существование которых поверил после чтения сказок Ганса Христиана Андерсена. Маленькие человечки в золотых коронах и с прозрачными крылышками.

И однажды, вот, мимо мальчика по полю шагнул Ей-Дорофей. Потрясение, испытанное тогда Григорием Лагустановичем, пожалуй, было сильнее того потрясения, которое он познал позже, при крушении некоторых его идеалов. Каждый шаг бродяги сопровождался скрипом эльфов, давимых его кирзовыми сапогами. Бродяга шел, поскрипывая голубенькими эльфами, не успевавшими выйти из счастливого оцепенения и улететь. Это оказалось так просто и доступно. Григорий Лагустанович, собственно, и стал Григорием Лагустановичем с того самого мига. Трудно описать то, что он сделал тогда. Он пошел за бродягой. Это тоже было просто и возможно. Уже не было тайны поля и эльфов, осталась тайна дали, в которую бродяга уходил. Ей-Дорофей шел в похмельной задумчивости, на каждом шагу скрипя давивыми человечками, и Лагустанович последовал за его обаянием и тайной. Сначала он еще старался ступать по его следам, а потом зашагал увереннее. Он и не заметил, как поляна осталась позади, и они пошли по дороге к полустанку. Ни разу впоследствии Григорий Лагустанович не испытывал такого блаженства. Как замороженный он шел за бичом, устремленным в даль. «Сиротинушка!» — пел Ей-Дорофей. Мальчик не понимал, что это такое, а только запомнил это слово, чтобы позже осознать сложное чувство: сначала осиротить, а потом жалеть. Далеко ли до Хвоста Земли, мама? Только мама была далеко. Она, все они... Ошалев от страха, его искали всем селом, заглядывая в колодцы. О том, кто проявил какое усердие — об этом

Лагустанович собрал полную информацию, и никто не может ему солгать и прихвастнуть.

Маленького Григория Лагустановича, спящего в его суме, Ей-Дорофей обнаружил только в поезде. Как выяснилось позже, они ехали в противоположную от Хвоста Земли сторону. А где-то очень далеко и от края земли и от дома бродяга выменял мальчика у цыганского барона на что-то, для себя более ценное. Это был барон Мануш-СаSTRUНО, который вел свой табор к Хвосту Земли, спасая его от очередного закона.

Барон привел маленького Лагустановича в табор. Он почесал за ухом с серьгой. Этот тоже ваш, сказал он семи молодым женам и трем сынкам. Барона-отца звали *Кукуной*, а старшего его сынка — *Бомборой*. Маленький Лагустанович был рассеян и ничего не понимал. У барона, повторяю, было семь молодых жен и пока три сына. Причем все три бароновых сына были одних лет, но от разных матерей. И одних лет с Лагустановичем. Как только дети остались одни в палатке, без старших, близнецы с криком «*Гаджио!*» налетели на Лагустановича. Дома его ни разу не били, он растерялся от новых ощущений. Сначала все терпел, боясь, что, если озлобит их сопротивлением, цыганчата станут бить еще сильнее. Но в конце концов не выдержал и до крови ущипнул одного из негодяев. Стало веселее. Зрелище крови возбудило маленького гаджио. Лагустанович и позже отличался личной храбростью. Сейчас он схватил серп и молот, союзу которых позже он посвятит наименее удачное, по правде говоря, произведение, но зато из этой неудачи он раз и навсегда сделал вывод, что важно писать прекрасно, а не писать прекрасное в ложной надежде, что модель сама себя вытянет...

Неизвестно, сколько продолжалась бы драчка и во что вылилась бы, не прибегни одна из матерей и не разными дерущихся. Цыганские ребятишки, ухмыляясь, ждали, когда останутся с гаджио наедине. Новичка спасло то, что его вздумал обидеть соседский мальчик. Тут же братва кинулась ему на помощь: он сразу стал им родня, а *найко** отступил. Дети подружились и наконец побратались.

Палатки цыган пахли прелой парусиной, жженым железом и тем запахом, который позже мерещился Лагустановичу в аромате коньяка, почему коньяк он никогда не мог пить, даже на ответственных банкетах. Рано утром всех будили, и дети, босые, бежали рядом с повозками. Повозки скрипели, звенели цепи на медведях, шумно вздыхали омерзительные старухи. Барон уверенно вел караван к Хвосту Земли.

Барон Кукуна Бомборович Мануш-СаSTRUНО.

Лагустанович был развитый мальчик. Но запомнил мало. Одно невозможно было забыть: как у въезда именно в Сухум дорогу табору пытался перебежать черный кот. Мальчик первый заметил кота и, не растерявшись, запустил в него серпом и молотом, с которыми он не разлучался после драки. Но кот удрал, а в городе табор остановили органы. И путешествие к Хвосту Земли закончилось тем, что горсовет прописал цыган в Старом Поселке.

Обыск, который учинили органы табору, принес Лагустановичу освобождение и возвращение домой, но тем не менее он через всю жизнь пронес непреодолимое отвращение к черным котам.

Как-то дачная домработница Лагустановича решила казнить кота, потому что это соседское животное каждый вечер забиралось на их чердак и мочилось оттуда прямо ей на постель. Лагустанович, человек в быту очень мягкий, хотел ей запретить, но кот как раз был черный, и неприязнь удержала его от вмешательства. Домработница намылила веревку и попросту

* Не наш (цыг.).

повесила кота. Однако удельный вес животного оказался меньше силы трения веревки, и зверек не удавился. Когда домработница сняла с веревки кота, уже неподвижного, он вырвался и убежал, чтобы вечером проделать то же самое. Оказалось, что умная тварь только замерла, чтобы петля не стянулась, догадываясь, что сила трения веревки меньше ее удельного веса.

— Так тебе, дура, — сказал Лагустанович, облегченно вздыхая на кресле-качалке. — *А дважды даже царь не вешал!*

Узнав в Лагустановиче нецыгана, органы дали приказ доставить его домой. Выполнить приказ было непросто, потому что на допросе у мальчика удалось выведать только как его зовут и что мама — самая умная в деревне. А разве мало деревень на пути от дома до Хвоста Земли! Но тот факт, что Григорий Лагустанович был обнаружен не где-нибудь, а рядом с родной деревней — не свидетельство ли значения его личности!

Итак, домой, чтобы вырасти в спокойной обстановке и стать тем, кем предназначено стать! Барон, хоть сам и не знал, откуда мальчик, потому что купили его далеко от этих мест, взялся свезти Лагустановича в деревню в сопровождении одного из органов. Барон поехал с органами и нашел деревню и дом мальчика.

Когда на холме завиделся родительский дом, мальчик заплакал и закричал. Заметив во дворе оживление, органы решили остаться в машине и отправили мальчика с бароном. Барон почесал за ухом с серьгой и взял мальчика на руки. Высокий, статный, словно предвеля образ воина-освободителя, которого, кстати, никто лучше Лагустановича не воспел, барон вошел во двор с мальчиком на груди. Мама увидела мальчика первая и с криком: «*Касатик мой!*» побежала к нему. Мальчик вырвался и бросился ей навстречу. Что, что ты сказал, касатик? Только сердцем она его поняла, как всегда, но не могла разобрать его слов: сын говорил с матерью на цыганском наречьи!

— *О, Бара Дэвла, коро явав, рани!**

Теперь Григорий Лагустанович подзабыл этот язык, который с лихостью пятилетнего изучил за неполный месяц. Но не прошло для него даром время, проведенное в таборе, уходившем к Хвосту Земли.

Даже будучи во славе и при должностях, Григорий Лагустанович не считал зазорным ходить на колхозный базар, где бросал на цыган ясные взгляды, которых не могли понять ни разу цыганы Старого Поселка. После смерти Барона Кукуны все изменилось. Уж и не поймешь, цыганы они или уже не цыганы, качал он головой. А если уларки продавали сахарных петушков, Лагустанович, оглянувшись по сторонам, потому что лишние глаза и лишние разговоры ему на кар были не нужны, подходил и покупал этих петушков. Потом, огорченный, что он всех узнает, а его никто не признал ни разу, он возвращался в свой кабинет, приказывал секретарше никого не пускать и гадал на сахарной мути, капая ее на стекло стола.

Что есть все же Хвост Земли, мама, — отчий дом, или первый шаг от порога в даль?

Об играх Эрота

Автор считает своим долгом уведомить, что в этой главе он проявил слабость, отдав дань модным в нынешней беллетристике непристойностям, но при этом читателю строгих вкусов можно эту главу пропустить вовсе, не

* О, Боже, неужто это ты, моя госпожа! (цыг.)

рискуя потерять нить повествования: читатель же, свободный от предрассудков, прочтя эти страницы, тут же убедится, что в тексте нет ничего предосудительного, что оправдывало бы гнев пуритан, с которыми и автор готов согласиться в том, что творчество — если не храм, то по крайней мере клуб, куда мы ходим не одни, а с семьями, и хотя бы потому там следует выражаться прилично.

Входная дверь в кабинет-приемную и дверь в главный кабинет, сработанные плотниками обкома и совмина, открывались и закрывались совершенно бесшумно. Джозефина сидела, склонясь над пишмашинкой, когда какой-то полуголый пацан бесшумно протиснулся к ней. Не успела она поднять голову, как в сердце кольнуло, в глазах потемнело и секретарша даже не заметила пацана. А он прошмыгнул мимо нее в дверь к шефу. Григорий Лагустанович, занятый телефонным разговором, тоже не увидел, как пострел пересек угол кабинета и спрятался за несгораемым шкафом, где как раз лежали секретные папки. Это был один из тех чумазных греченят, которых, к сожалению, воспитывает улица. И воспитывает улица маленьких нэпе* сорвиголовами, которым только стрелять рогатками по окнам, а то и бегать с луком и стрелами, как это светлокудрое дитя.

Джозефина ощутила странное волнение. Она и без того с утра не находила себе места. Она так не любила докучать Лагустановичу просьбами. Но за родственника, за Могеля надо было просить.

Продолжая ощущать странное волнение, она заглянула к Лагустановичу. Шеф был в мечтательном настроении. Джозефина понимала, что одного этого недостаточно, чтобы склонить его махнуть эту проклятую резолюцию.

Мальчик, торжествуя, наблюдал из укрытия, как секретарша прошествовала через кабинет к начальнику, вульгарно поводя бедрами. Мальчик за шкафом находил ее походку именно такой. Но тут вам не Древняя Греция. Джозефина с явным кокетством и вызовом пропела: «Можно?»

— И порыбачить тянет очень, — вздохнул начальник, то есть Лагустанович, говоря по обкомовскому телефону. — Но очень много дел.

Он положил трубку, но телефон опять зазвонил. Когда он снова брался за телефон, ему вдруг почудилось, что секретарша на ходу подала кому-то знак в темный угол, где стоял несгораемый шкаф. Однако Лагустанович ошибся, потому что Джозефина сама не замечала присутствия своего юного соотечественника. А мальчик-пострел наблюдал за ее поступью и плутовато улыбался, сжимая в своих руках золотой лук. Но мальчик тоже тут был неправ. Он не знал, как ей самой было ненавистно это вынужденное приглашение шефа на Прямой Контакт. Она чуть ли не уподоблялась сейчас юным секретуткам, которых что в обкоме, что в совмине было пруд пруди, в отличие от подобных Джозефине дам — солидных соратниц руководящих кадров. У секретарши с шефом были очень хорошие отношения. Можно сказать даже: духовная близость. Под влиянием Григория Лагустановича она даже втайне писала стихи древнегреческим метром.

Если на кокетство и вызов, т.е. протяжное «Можно?», и вождение бедрами шеф посмотрит со строгостью, но со вздохом, — значит, все идет по плану.

Разговаривая по партийному телефону, шеф оценил походку взглядом над очками, но во взгляде его не было вздоха, была только строгость. Так что теперь ей следовало вести себя естественней, но непременно добиться, чтобы он тут же пошел на Прямой Контакт. Поэтому она подошла не кратчайшим путем справа, откуда ее от шефа отдалял бы столик с телефонами, а

* Мальчик (новогреч.).

обогнув П стола, нарочно подошла слева, с противоположной стороны, чтобы быть под рукой в случае Прямого Контакта.

— Так прямо и женится? — улыбаясь, говорил шеф в трубку. — На цыганочке... Так-так!.. Говорите, очень хороша собой?.. И только тринадцать лет ей? А почему у нее грузинское имя Дарико?.. Ах, Дарьей ее зовут... А как он может жениться на тринадцатилетней, его же привлечь можно за малолетку!

Шеф снова кинул на секретаршу ничего не говорящий взгляд. Предваряя Прямой Контакт, она издала ненавистный ей самой скулеж, потом сыграла желание увернуться от Прямого Контакта, понимая, что этим самым возлагает на него одного моральную вину за нерабочие отношения, тогда как хотелось эту вину делить с ним поровну, если не брать всю на себя. Ведь это входило в своеобразный договор, который ими не обсуждался, но соблюдался обеими сторонами неукоснительно: отношения в обеденные часы не переносить на рабочее время. О, как она не любила эту игру!

— Официально он не женится, потому что женитьба вору в законе возбраняется... Так-так... Так он и сказал: «Будешь жить в моем доме и рожать мне детей»? И цыганский барон на это согласился? Теперь не поймешь, что за цыганы пошли!

Шеф снова покосился на секретаршу. Он вдруг ощутил странное волнение. Засуетился, продолжая говорить. Сбоку от него замерла пышнобедрая женщина с бумагами на подпись. Оставив старые сплетни, он перешел на серьезный тон.

— Теперь об Орловой. Ограничимся взысканием, — говорил он. — Не будем ей пачкать партбилет.

Если сейчас, говоря о серьезном, он пойдет на Прямой Контакт, этим он как бы подначит собеседника. Такое невинное озорство должно нравиться импозантному товарищу.

— Конечно же, дисциплина прежде всего. Конечно же, Орлова эта — шлюха. Да, важный вопрос, я с вами согласен. Но пачкать партбилет!.. *Будем вольтить!* — заговорил Лагустанович с игривостью, которую она прекрасно замечала, но телефонный товарищ на том конце — вряд ли. Джозефина приготолилась.

Наконец густой румянец покрыл шефа от сильной шеи над белоснежной рубашкой до все еще густых волос на величавой голове. О, как он перебарывал себя!

— До встречи на бюро! — сказал он, взглянул на нее на миг, убрал глаза и тут же пошел на Прямой Контакт.

Трубку он положил только после этого. После того, как пошел на Прямой Контакт, то есть хлопнул секретаршу по бедру. Она издала свой скулеж и удалилась в приемную, развратно, как ей казалось, поводя этими самыми бедрами. Села за машинку, вся взвихренная в сторону кабинета, откуда теперь ей следовало ждать звонка. Джозефина напечатала заглавными буквами адрес учреждения и не успела с красной строки вывести «тов.», как звонок раздался. Она не вскочила и не побежала, а, замерев, застенчиво склонила голову над пишмашинкой. Принося его нетерпеливость в жертву своему целомудрию, она продолжала сидеть, требуя от шефа второго звонка. Напечатала ФИО и с красной строки «Глубокоуважаемый...» Дверь в приемную распахнулась.

— Перерыв! — строго пропела она, не поднимая головы, а продолжая печатать имя-отчество. И сама рассмеялась.

Потому что это был ее муж.

— Я тебе дам перерыв! — сказал он весело.

Энгештер был не один. Он забежал сюда в сопровождении приятеля.

Джозефина встала из-за стола с приветливостью, которой она, хоть и была гречанкой, сто очков вперед дала бы любой их мингрельской жене. Она вежливо и сердечно поздоровалась с приятелем мужа. Усадила пришедших на мягкие стулья. Энгештер польщенно заулыбался. Он спросил ее глазами, как идут дела по резолюции. Жена глазами же ответила, что там это отрабатывается, что как раз этим она сейчас занимается. Энгештер с плохо скрываемой гордостью кивнул. И как бы в подтверждение всему этому из кабинета раздался второй, уже нетерпеливый звонок. Энгештер понимающе кивнул.

— Вы меня подождете? — спросила Джозефина учтиво.

Приятель мужа вежливо пожал плечами, говоря, что он поступит так, как скажет Энгештер.

— Очень много дел! — вздохнула Джозефина, идя к дверям.

— Больше десяти минут не жду, — вслед ей пригрозил муж.

У двери она остановилась.

*Скоро ль, супруг, суету городскую отринув,
В кущу садов предстоит нам с тобой удалиться? —*

вздохнула она и, мягко улыбнувшись приятелю мужа, зашла к шефу.

— Про участок в Гульрипше напომни ему, нэпсе! — воскликнул Энгештер в уже закрытую дверь. И добавил со светлой печалью на лице:

*Пусть для юношей — отрада шум веселья в стогнах града.
Лишь под сенью вертограда — благодать душе усталой...*

Через рабочий кабинет Джозефина прошествовала в комнату отдыха. Звонок был оттуда. За тыл она была спокойна, хотя и не захлопнула дверей. Муж никогда не перешел бы рубикона служебного порога. Подождет десять обещанных минут и удалится обедать с приятелем в сванский ресторан.

Делать было нечего. Он же понимал, что работа есть работа. Да еще она занималась заявлением его же брата.

Не успела она открыть дверь, как мальчик прошмыгнул за ней. Войдя, Джозефина тут же встретилась глазами с шефом. Лагустанович сидел на диване без пиджака и без галстука. Прочтя в его взгляде смущение, она со щадящей поспешностью убрала глаза.

О, будь прокляты эти условности, принуждающие к торопливым свиданиям в белых прорехах между параграфами инструкций! Они не позволяют ей просто так прижать его величавую седую голову к грудям, и молчать, молчать.

Она любила Лагустановича. И с гордостью догадывалась, что и шеф любит ее, а жену только уважает за долгую совместную жизнь. Но вместе с тем, если бы ему и ей сказали, что они любовники, они оба или возмутились бы, или растерялись, что вместе, что порознь, потому что были люди старых правил. Они оба страдали. Традиционность таких отношений между шефом и секретаршей их не утешала. Хотя эти отношения продолжались уже десять лет, и не были в городе секретом, и для них самих не было секретом, что это в городе не секрет, что и пытались использовать мужние мингрельцы и свои греки для влияния на Лагустановича, он и она так и не научились относиться к этому естественно и легко.

Она отвела взгляд. Джозефина знала, как может он быть нежен и деликатен. Ведь был в их жизни Трускавец, куда они решились раз поехать вместе, вернее параллельно, но это в итоге кончилось проблемами. Поэтому она никаких претензий не предъявляла милому за его вынужденную, чисто внешнюю отстраненность. Их отношения были намного чище обычного романа.

Но они вынуждены были это скрывать. Потому она издала сейчас нена-

вистный ей самой скулеж. И ему, тоже не от хорошей жизни и, конечно же, неуклюже, пришлось сыграть следующую роль: он-де сердится на подчиненную за то, что она не отозвалась на первый звонок, и теперь наказывает ее. Она сейчас, подчиняясь ему и скуля, понимала его вполне. Когда он стал грубо валить ее на диван, ей самой ненавистный скулеж прозвучал не как протест, а как признание кары. Причем, так это было сначала, одно мгновение, так сказать, а потом наступил необоримый стыд, и Джозефина, как и всякий раз, шла на шаг, ненавистный, но необходимый, потому что он входил в правила игры: она начинала защищаться, фактически отталкивая его. Он не умел брать, она не умела отдаваться. Поскорее бы он схватил за груди, чтобы мне упасть в обморок, подумала она, вынужденно сопротивляясь.

*Страстно, Эрот светлокудрый, возлюбленный мой припадает
К ране, которую ты мне нанес своей звонкой стрелой.
В длани свои заточает он перси мои целокупно,
Яростный, как Громовержец, который однажды на Крите
Перед пленительной Ледой явился в обличье пернатом.*

А потом, медленно приходя в себя, она подумала, что он и теперь продолжает смущаться. Ей захотелось сейчас же вызвать у него озорную улыбку, чтобы стало ему от этого легче. Она приподнялась на локте и откинула прочь волосы, чтобы сообщить ему, что ее муж в сию минуту находится не далее, как в приемной. О, Венера! Григорий Лагустанович спал...

Он действительно очень устал. В отличие от других должностных лиц его ранга, Григорий Лагустанович был труженик и аскет. Шеф был близок к народу, народ тянулся к нему. Джозефине с трудом удавалось сдерживать непрерывный поток. Работая с юных лет в управленческом аппарате, она отлично знала и руководящие кадры, и народ. За пятнадцать с лишним лет работы в приемной Григория Лагустановича весь народ прошел перед ней целиком и полностью. Отношение Джозефины к народу было неоднозначное. Она тоже любила простой народ, научившись этому от шефа. Но, искренне любя, она не склонна была его идеализировать и не переставала видеть его недостатки. И не только недостатки, лезшие в глаза ежедневно — такие, как привычка к попрошайничеству, угодничество и неумение благодарить с достоинством. Ей претило вечное интриганство, свойственное народному характеру. Народ только тем и занят, что сеет в среде руководства раздор, заставляя делиться, вопреки их, руководителей, воле, по национальным, клановым и прочим группам. И жил бы себе руководящий слой одной семьей, — в этом Джозефина не сомневалась, — если бы не народ. Григорий Лагустанович, в общем с этим соглашаясь, напоминал ей, однако, что народ при этом искренне гостеприимен. После очередной поездки в район, где дела завершались хлебом-солью у простого народа, он неизменно возвращался в хорошем настроении, благодарный и просветленный. Джозефина не возражала шефу — то есть не возражала про себя, вслух же она тем более не позволяла себе перечить ему, — но при этом кому же, как не ей, было известно по опыту, что каждый представитель народа, у которого в очередной раз пришлось гостить Лагустановичу, не заставит себя долго ждать: вскоре он появлялся в приемной, скромно переминаясь с ноги на ногу и добиваясь получения задарма того, за что обычно принято платить.

Думая об этом, она прошлась осторожными пальцами по его волосам. Шеф сладко спал. Он что-то пробормотал невнятное. Нежное чувство к шефу охватило секретаршу. Ее умиляло все: и лицо его с полуоткрытым ртом под холеными усами, и беззащитная его нагота. Хотелось его прикрыть, но вытащить из-под него покрывало, не разбудив его, было нельзя, а постель осталась сложенной внутри дивана, на котором они лежали.

*И ухмылялось дитя дерзновенное, видя:
Сладко расслабились члены могучего мужа,
Так беззащитно который уснул, утомленный;
Дева же, чресла его занавесив густыми власами,
К жезлу любви его жаждала пьяной вакханкой прикинуть, —
Так свою жатву собирало дитя белопенной Киприды.*

Развратный эллинский сопляк не ведал, привыкши с древности ко всяким вольностям небожителей, какая буря творилась в душе его соотечественницы. Она не могла себе позволить порадовать мужчину, а ей тяжело было видеть возлюбленного немощным хотя бы одну минуту. Она была уверена, что это потрясет его, человека старых правил, и наверняка вызовет у него неуважение к ней. И хотя часто, ласкаясь, она подводила его к такому моменту, когда с его стороны было достаточно намека на призыв, но он или вообще не знал об этой игре любви, или же считал ее уделом совершенно падших женщин. И помыслить не мог, что она возможна в их отношениях. Еще более умиленная, она взглянула на него, потом взгрустнула и заплакала.

Она не решалась и с Матутой, потому что опять же боялась жигана. Как-то она намекнула ему в постели, что подруга, дескать, признавалась ей, что они с мужем ни в чем себя не ограничивают. «Я тоже это слышал, — сказал Матута вдруг отвердевшим голосом. — Вешать надо таких прошмондовок!». И она, испуганная, выкинула это из головы. И, естественно, не могла этого сделать с мужем, с которым отношения были что называется простым исполнением супружеской обязанности.

И она, осторожными пальцами водя по телу возлюбленного, грустила, плакала и медлила. Он проснулся. Провел рукой по ее волосам. В этом движении было столько тепла, что Джозефина захлебнулась от благодарности. Но тут же, вскочив, Лагустанович стал одеваться.

— Вставай, вставай, мадам! — сказал он совершенно проснувшимся голосом. — *Очень много дел!*

Но она не обиделась. Только заскулила, потом, встав, прошла перед ним, а когда добилась прощального Прямого Контакта, окончательно успокоилась, так что мальчик заскучал и ретировался.

Джозефина только облегченно вздохнула, когда наглый землячок ушел. Теперь было в самый раз сунуть шефу треклятую бумагу. Заскулив и подставившись, она тут же, не мешкая, протянула шефу невесть откуда взявшееся заявление. Он пробежал глазами текст.

— Шельма! — сказал Лагустанович, сопровождая свое восклицание Прямым Контактom. — А что за имя Могель?

— Не знаю, это ихнее.

Лагустанович затянул брючный ремень. Он выставил секретаршу спиной к оконному свету, чтобы лучше было видно, и, развернув бумагу на ее спине, черкнул в верхнем левом углу бумажки резолюцию: «прописать в порядке исключения».

— Марш, марш! — еще раз сказал он, для мягкости повторив Прямой Контакт. — *Очень много дел!*

И беспощадно выгнал ту, которую на самом деле любил.

Натянув рубашку и завязывая галстук, Григорий Лагустанович вдруг загрустил, что вот еще одного мингрельца прописывает в Абхазии. Но тут же, вспомнив, что его коллега и старый соперник, клязник каров, прописывает их десятками и сотнями, причем за мзду, и что вообще все потихоньку заняты этим, успокоился. Уже одевшись, Григорий Лагустанович ненадолго вытянулся на диване и стал мечтать о том, чтобы все учащиеся абхазы стали поэтами, а если это невозможно, то по крайней мере кандидатами наук.

«Это нам сейчас очень нужно», — сладко подумал он.

О смирении и гордости

Мазакуаль не сомневалась, что еще встретится со Старушкой. Если в этом большом городе с Хозяином будет не все в порядке, как она посмотрит ей в глаза! Конечно же, Мазакуаль не обделит парня вниманием и птицами будет помогать. Но не то чтобы жить вместе с Хозяином, — даже где-нибудь поблизости — об этом и мечтать не приходилось в новых условиях. Самого Могеля брат еще мог принять, но не Мазакуаль.

Со смирением, присущим разумным деревенщинам, Мазакуаль и не помышляла жить с людьми на квартире. Городские собаки, которых она видела тут во множестве, были ей не чета. Простой породы они — что она, что Хозяин. Ведь и Могель выглядел на фоне городских людей таким же бедолагой, как Мазакуаль против породистых див. Но он был человек и, как это бывает у молодых честолюбивых людей, мечтавших попасть в город и попавших в него, по-своему замышлял покорить этот город. Мазакуаль же не предполагала, что ее способности будут тут замечены и помогут стать заметной и значительной. Этого невозможно осуществить без определенных связей. А какие могли быть связи в стольном городе у Мазакуаль и Могеля!

Мазакуаль и не была тщеславна. Никогда ее не мучила зависть к собратьям, которые жили в квартирах, которых специально выгуливали посать на просторе, которых даже возили на пляж.

Вот каким образом Мазакуаль попала на пляж. Дворняжка бежала по тенистому тротуару бывшего Тбилисского шоссе. Запахи бесконечных лотков дразнили ее, голодную и грустную. Пляж она определила сразу, хотя он был отделен от шоссе высокой железнодорожной насыпью, и моря не было видно. Она определила, что море здесь, по его мощному, уже знакомому запаху. Запах этот вырывался из вонючей подземки. Подземка была сделана, чтобы люди и животные переходили шоссе без угрозы попасть под колеса машин. Там и тут в ней темнели застоявшиеся лужи. Лужи эти, в отличие от деревенских луж, издавали неприродную вонь. Но, пройдя через подземку и войдя в некую арку, Мазакуаль тут же, сквозь опушку свай причала, увидела море. Еще через минуту она была на самом медицинском пляже, где, несмотря на раннюю весну, уже кипела жизнь. И вот тут уж загуляла Мазакуаль!

Она бежала по бетонному бордюру над песком пляжа, деликатно уступая купальщикам, сновавшим туда-сюда, — и не испытывала сейчас никаких иных ощущений, кроме чувства причастности к большому празднику. Праздник, как и должно быть, решает все проблемы. Даже шашлыки тут жарились такими, словно учитывались интересы Мазакуаль. Те куски мяса, которые были слишком жесткими и которых купальщики не могли догрызть, они оставляли на столиках. Для желудка Мазакуаль эти куски были в самый раз, да еще вместе с недоеденными ломтиками хачапури. Переходя от одной точки к другой, Мазакуаль обедала по-гурмански и, естественно, ни разу не замеченная владельцами точек. Когда наелась, она решила отдохнуть и собраться с мыслями, для чего улеглась на кучу лежаков.

Собраться с мыслями ей удалось не сразу, потому что она тут же заснула под гомон пляжа: сытный, изысканный обед, да еще застарелая привычка к дневному сну взяли свое.

Во сне Мазакуаль видела родную деревню Великий Дуб и Старушку, глядящую с тоской на дорогу. Ей было до боли жаль Старушку, потому что во сне она не помнила, что та сама настояла, чтобы Мазакуаль отправилась сопровождать ее сына в поход на запад. Во сне она этого не помнила и потому плакала от жалости к Старушке и от чувства вины перед нею.

Голос репродуктора с катера, подходившего к причалу, разбудил собаку

ласково, ненавязчиво. Она замигала, стирая с глаз остатки уже забытого сна. Морда ее покоилась на вытянутых лапах.

Вечерело. Море из синего успело превратиться в густозеленое, а вдали, за лукоморьем города, над мысом, где слабо мигал маяк, опускалось большое солнце, уже неяркое, не слепящее. Над дымчатым морем золотился рассеянный свет. Вдали на городских домах пламенели окна, словно они, эти окна, высосали последнюю энергию у солнца, которое становилось все больше, ближе и прозрачнее. Музыка от катера на причале тихо стелилась по песку.

Дневные купальщики уже покинули пляж, сейчас тусовалась местная публика, которая пришла на вечернее купание вместе со своими собаками. Кого только не увидела здесь Мазакуаль! Многие из них и на собак-то похожи не были.

Мазакуаль глядела на них и блаженствовала. Это были странные собаки, нарочно созданные для улады хозяев, а не для того, чтобы выполнять обычные собачьи дела. Мазакуаль не завидовала им. Ее бродяжья душа отвергала всякую мысль о покое и мирских радостях; она знала, что это привело бы ее лишь к вырождению и немедленной гибели. Это были мирные собаки, которых кормили не клыки, не когти, не нюх, или быстрые ноги, и не ум, как Мазакуаль, — их кормили красота и экзотичность, да ласковый характер — чего и надо было их хозяевам. Наслаждаясь панорамой заката и вечерней прохладой, Мазакуаль даже слегка презирала их. Она считала, что ей ничего не стоит погонять их всех так, чтобы они имели бледный вид. Это была ее ошибка: простушка не обратила внимания, что среди породистых собак есть и очень сильные, и жестокие.

...Она подошла неслышно. Она не издала и звука, чтобы дать Мазакуаль возможность мирно удалиться. У нее была гладкая черная шкура с уродливыми пятнами, под которой гуляли упругие мышцы и мерзкий длинный хвост. Она не то чтобы подкралась: она просто бесшумно двигалась на кривых ногах. И цапнула Мазакуаль не по задумке, а проходя мимо. Ее хозяйку, тоже не самое обаятельное из человеческих существ, вовремя заметил злодейство своей псины и с ласковой строгостью окликнул, но откуда было знать Мазакуаль, что у собак породы бультерьеров такая хватка, что разжать ее челюсти не может не только никто посторонний — разжать их не может она сама. Она вырвала у Мазакуаль клоч шерсти вместе с куском мяса и кожи.

Успев оценить вовсе не собачье лицо и кровавые глаза противницы, Мазакуаль поборола ярость и пустилась наутек. «Уж бежать-то я могу», — думала она, пока обидчица выкашливала ее мясо и шерсть. Вскоре, однако, ей пришлось убедиться в прыгучести и быстроте ног злодейки. Мазакуаль уже была в пятидесяти человеческих шагах от выхода с пляжа, когда чудиче, откашлявшись, пошло за ней. Хоть эта падла и укусила дворняжку походя, но, видимо, вкус крови окончательно вывел ее из себя, и она стала догонять Мазакуаль неотвратно, как в кошмарных снах. Спас Мазакуаль только хозяйку. Он побежал за своей драгоценной псиной:

— Регина! Назад! Регина, голубушка! Назад!

Мазакуаль унесла ноги. Только потому, что голубушка Регина послушалась хозяйку и вернулась. Дворняга знала, что этот позор не забудется никогда и что не уймется в ее сердце жажда мести. Но не сейчас...

То, где она провела ночь, не имеет значения для нашего рассказа, но место это было достаточно отдаленное от медицинского пляжа.

О горечи разлуки

Когда Джозефина вернулась к своему рабочему месту, ни мужа, ни приятеля уже не было. Но Энгештер тут же появился в телефоне.

— Сколько можно было тебя ждать, нэпсе! — загремел он в трубку. Но

в его интонации чувствовалось, что он понимает занятость жены. Это он говорил скорее для ушей своего приятеля, который должен быть рядом.

— *Очень много дел!* — только и сказала она.

— Ну что там? — спросил он.

— Все хорошо.

— Молодец, нэпсе! — воскликнула трубка. — Поздно приду сегодня, предупредил он на прощание. И добавил, преодолевая нашу южную нелюбовь к выражениям чувств. — Магарыч обещаю тебе ночью!

Как легко сделать женщине приятно! Вот я услышала буквально одну теплую фразу — и мне радостно на душе, думала Джозефина. Она принялась за работу. Не успела попечатать и получаса, как позвонил Матута.

— Короче, скоро ты закончишь? — спросил он.

— Ой, даже не знаю, Матута, *очень много дел!* — вздохнула Джозефина.

— Я тебе дам много дел! — сразу сказал этот человек с расшатанными нервами.

Сегодня, в сущности, был конец недели, можно было скоро закругляться, о чем она и сказала ему. Велев ей ждать в условленное время в условленном месте, он положил трубку. Джозефина торопилась, боясь, не приведи Господь, опоздать. Матута этого не любил. Но встретила подругу, которая по городу Сухуму знает все. Чуть-чуть заболталась с ней, утешая себя тем, что подружка сообщила много того, что и Матуте будет интересно. Вскоре она уже сидела в «мерседесе» Матуты Хатта, скрытая затемненными стеклами от посторонних глаз.

— Не опоздать ты не можешь, — заметил он ей беззлобно.

— Не сердись, дорогой. Ты же знаешь: у нас, особенно в конце квартала, очень много дел.

— Деловые, — пробурчал Матута. — А твоего Лагустановича на пенсию отправляют?

Джозефина вскинула голову и отпрянула: это было для нее новостью. Те новости, которые она несла Матуте, вмиг разбежались, как цыплята у нерадивой хозяйки. Лагустановича на пенсию! Переспрашивать да уточнять необходимости не было: Матута не скажет, не зная наверняка. Она только и произнесла с плохо скрываемым отчаяньем:

— Почему я обо всем на свете узнаю последней?

Она тут же представила злорадство своих греков и мужниных мингрелов.

— А кто на его место, Мато?

— Имярекба.

Джозефина любила Матуту. Его, прошедшего самые лучшие годы в этих отвратительных лагерях, где он чуть не угробил свое здоровье, — и все прощала ему легко, понимая, что иным он быть не мог. В редкие встречи, которые проходили на даче Матуты, но чаще устраивались бесцеремонным гангстером где-нибудь на берегу речки прямо в машине, Джозефина старалась отдать ему как можно больше тепла. И Матута, казалось ей, ценил свою козулю, как иногда ее называл.

Нежно прикинув к возлюбленному, она вспоминала претендента на место Лагустановича, которого Матута только что назвал. Она знала этого товарища, перспективного, авторитетного, с замечательными деловыми качествами, при этом простого, мягкого и воспитанного. Лагустанович приглашал его иногда на заседания коллегии. Она подумала было, зачем ему, историку, кандидату наук, эта рутинная работа, но общественная деятельность, но служение своему народу... Это был импозантный, породистый мужчина лет сорока пяти, который проявлял к Джозефине внимание настолько недвусмысленное, что она даже краснела под его пристальным взглядом.

— Куда мы едем, Мато? — спросила она.

— Открой бардачок, — приказал Матута, не отвечая на ее вопрос.

Ой, какое замечательное кольцо! Такой подарок мог сделать только Матута.

— Ты мне даришь эту музейную вещь, Мато?! — восторг был оправданием того, что она задавала этот лишний вопрос.

Жиган снисходительно давал себя тискать. Целовать себя он не разрешал.

— Короче, расстанемся, — сказал он, и хотя этого ему было достаточно при расставании с женщинами, Джозефину он считал особенной и потому добавил: — Женюсь я, короче.

Слез не было. Джозефина держалась отлично.

— На ком? — спросила она наконец.

Это тоже был лишний вопрос, но Матута и на него ответил, настолько забавной женитьба казалась ему самому.

— На цыганке, — сказал он.

Их глаза встретились, и они одновременно расхохотались.

Так вот о ком сегодня говорил Лагустанович!

— Знай, косуля, что когда понадобится — я всегда рядом, — сказал Матута, а слово это кое-где, где надо, было ценнее банковского аккредитива.

Она прижалась к нему, на самом деле — ища защиты, а с точки зрения Матуты — по-блядски. Но Матута сегодня был снисходительный. Он положил руку ей на колено. Ощувив рядом мужскую силу, она тут же вспомнила смущенную улыбку растущего кадра, от которой сама покраснела тогда, перед началом коллегии.

Джозефина умела переносить удары судьбы. Она не унывала в любой ситуации. Даже сейчас, когда она почувствовала, что слезы все-таки не удержат, она, прежде чем уткнуться в колени возлюбленного (прош. вр.), нашла в себе силы строго взглянуть на мальчугана, нагло развалившегося на заднем сидении. Она упала лицом в колени Матуты и в первый миг сама не знала, сделать ему больно или сделать ему хорошо напоследок. Но в следующий миг она уже думала не о себе, а о нем. Она решится на то, из-за чего он будет ее презирать, лишь бы избавить гордого Матуту от неловкости прощания!..

Матута не удивился: ему уже было все равно. Выпустил он ее из машины как обычную шлюху. Она была довольна, потому что этого и добивалась.

Энгештер сдержал свое слово: вернулся поздно. Он был сильно пьян. Тем не менее, о другом обещании тоже не забыл. Без слов и без ласк он кинулся на Джозефину, которая уже засыпала. Он видел в жене только тело! Он, считай, ее насиловал и даже, наконец, склонил к тому, от чего сам обалдеет, очухавшись, если вспомнит. Но было бы странно со стороны жены сопротивляться законному мужу. Джозефина и не сопротивлялась. Кому, как не ей, было знать, что вся его грубость была маской, за которой скрывался в сущности робкий, постоянно обижаемый жизнью человек. И кому, как не жене, сочувствовать мужу, и не только сочувствовать, но прятать, топить это чувство в нежности и преданности. Пусть будут для него отдушиной моя нежность и преданность, думала она сейчас, даже не отдушиной, а отдохновением.

*Полно тебе ухмыляться, юнец златокудрый!
Прочь удались: ты уже здесь собрал свою жатву! —*

пригрозила она юному стрелку в углу, забывая, как сильно разнится язык современных понтийских греков от древнеэллинского.

Джозефина любила своего мужа Энгештера.

(Окончание следует)

Даур Зантария

Золотое Колесо

роман

III

О треволнениях

Рана, полученная Мазакуаль, была в сущности пустячной; важен был производимый ею эффект. Регина-бультерьер слегка порвала дворняжке кожу на левом бедре. Жалость, которую могла эта рана вызвать, Мазакуаль решила использовать, когда будет устраивать себе более или менее постоянное жилье.

Коли пришлось искать место обитания вдали от хозяина, Мазакуаль решила не отказывать себе в роскоши поселиться на первоклассной турбазе. Лучшей турбазой в Сухуме всегда была турбаза Челюскинцев с бессменным директором Дурмишханом Джушкуняни. Мазакуаль быстро нашла эту турбазу. Место было, конечно же, шикарное. Побродив вдоволь по чистому парку, где в прудах плавали прекрасные лебеди, каждый по шестнадцать кг живого веса, а в тени экзотических деревьев гуляли царственные павлины, Мазакуаль вновь обрела себя. О мести она уже думала спокойно. Решила не терять головы, а сначала устроиться, причем устроиться именно здесь; месть же, чем она дольше откладывается, тем слаще. И еще, чтобы одолеть мерзавку Регину, она должна подготовиться, по крайней мере узнать ее слабости с меньшим уроном, чем узнала преимущества. Мазакуаль уже успела разведать, где эта шлюха Регина живет, — точнее: где живет хозяйка, у кого она пристроена.

Совсем другое дело — павлины. Мазакуаль, увидев впервые, как павлин распускает свой волшебный хвост, была потрясена. При этом надо учесть: она кое-что понимала в птицах.

Преданная Мазакуаль поклялась увести эту птицу при первом же случае, чтобы подарить Хозяину.

Но это потом. Сейчас ни Хозяину, ни ей самой было не до красоты.

Мысль прижиться в одной из нескольких шашлычных турбазы, а тем более около хоздвора, Мазакуаль немедленно отвергла, несмотря на то, что там, особенно в шашлычных, люди говорили на знакомом ей языке. Конечно же, она и в шашлычных, и на хоздворе не стала бы нахлебницей. Статус, заслуженный ею ввиду ее талантов, она сумела бы обрести и там. Но Мазакуаль решила свой дар добывать птиц поставить в услужение скромному Художнику, который творил в одном из вагончиков турбазы. При этом она понимала, как мало птиц в самом городе и как непросто будет охотиться в пригородах, где на ее пути непременно встанут совершенно иные собаки, воспитанные в другой среде, со смешанным менталитетом.

А почему Художник? Да потому, что бездомной собаке, если у нее есть выбор, конечно же, лучше поставить на русского человека с его умеренным, но стабильным отношением к животным. На этой турбазе, кроме начальства и шашлычников, все остальные были русские, но большинство их были *купальщики* и сменяли друг друга каждый месяц. Так что, если не считать горничных, которые Мазакваль мало интересовали, и дворников, которых она оставила на крайний случай, единственным бессменным постояльцем на турбазе был Художник. Он жил и работал на турбазе, являясь ее достопримечательностью, подобно павлинам и лебедям. Как только Мазакваль это вычислила, тут же не замедлила состояться их трогательная и несколько фальшивая дружба.

Сострадание — такое чувство, при каждой возможности проявления которого человек начинает себя больше уважать. Потому рана на бедре Мазакваль оказалась как можно более кстати. На второй же день после злополучного посещения пляжа Мазакваль, не мешкая и без обиняков, явилась к Художнику в вагончик и вправила в раму растворенной двери свой огорченный, но неуниженный вид. Художник был занят деревянной скульптурой. Он изображал абхазского классика в гостях у сванов, т. е. беседующего с двумя старцами в войлочных подшлемниках, которые принято называть сванскими шапками. Продолжая работать, Художник обратил на собаку свое доброе бабье лицо и гаркнул на нее. В ответ Мазакваль предстала перед ним анфас, причем на ее морде безо всяких слов читалось: внимательней, маэстро, пусть вас не введет в заблуждение простоватый вид вашей гостьи, она может еще вам пригодиться, и это не должно ускользнуть от взгляда Художника; ведь ваш глаз привычен не упускать даже самые незначительные штрихи!

— Пшла, твою мать! — вскричал Художник.

В работе, которую ему заказал сам директор турбазы, не все шло как надо: дерево попало неудачное, во-первых; во-вторых, лица старцев получились слишком хищными для внимающих писателю мудрецов.

Мазакваль не знала, что брань, обращенная к ней, является чисто русской, но общей для всех народов, — и в привычной мингрельской среде, и в абхазской, где она побывала недавно, к ней все обращались именно с этой фразой. Она насторожилась. Художник мог в нее чем-нибудь запустить. Повернулась, точнее полубернулась к нему таким образом, чтобы при данном освещении на миг высветилась ее жестокая рана. Эта рана не могла пройти мимо взора Художника. Мазакваль осознавала, что она — не королевский пудель и рана ее не выглядит столь кошунственной, как если бы была на каракуле благородного собрата, и что первое чувство, которое посетит нормального человека при виде дворняги, да еще изодранной, — это отвращение и желание прогнать ее прочь. Но для пожилого и в силу профессии склонного к рефлексиям человека в отвращении к беспомощному животному всегда есть что-то постыдное. Первоначально оно выражается в желании скорее избавиться от зрелища, вызывающего жалость. Но если сработать тонко, жалость эта будет возрастать обратно пропорционально стремлению от нее избавиться и укрыться. И Мазакваль сейчас делала все, чтобы благодатное зерно жалости дало немедленные всходы в виде колосьев сострадания и милосердия. Как будто беспомощно заматавшись у входа, она на мгновение убрала рану в тень и тут же высветила ее в новом ракурсе. На морде ее при этом держалась добродушно-прощающая улыбка, какая бывает у того, кого мы сразу не узнали, а должны были узнать, — улыбка, предвещающая наше смущение, которое неминуемо после узнавания. Этой своей улыбающейся физиономией Мазакваль как бы говорила Художнику, что он *должен, должен* распознать в этом несчастном существе не совсем обычную собаку, — собаку, способную быть полезной. Старый Художник уже приподнял берет, чтобы почесать себе темя. Собака понимала, что Художник, несмотря на

наметанный глаз, не сразу прочитает на ее физиономии эти тонкости, но, по ее замыслу, он уже должен был быть польщен тем, что к нему обращаются с уверенностью в его проницательности. Замысел начинал срабатывать. Процесс умиротворения в сердце мастера уже начался. Хотя он не перестал лихорадочно искать, чем бы в дворнягу запустить. Искал лихорадочно, но слепо, потому что, втянутый в диалог, он мог лишь ненадолго оторвать свой взгляд от собачьей морды, и то лишь для того, чтобы убедиться, что каждый предмет, который он нащупывал, был ему слишком необходим в мастерской, чтобы запустить им в псину. Это давало возможность псине исполнять свои следующие выходы с демонстрацией раны без особого страха.

Как бы смирясь с собакой в дверях, Художник отвлекся на свою работу и прищурился. Собака поняла, что ее приняли. Художник напряженно думал. Работа была незавершена, по крайней мере не доведена до того совершенства, на которое Художник был способен. Хищность стариковских лиц была исходной, характерной чертой, без которой нельзя обойтись, делая, как желал директор, гордых сванов. Требовалось хищность убрать на задний план, выдвинув вперед спутников старости — мудрость и печаль. А он это мог, хотя камфорное дерево — не самый податливый материал.

В следующий миг Мазакуаль шагнула через порог, принимая приглашение дать свою оценку композиции. И приглашение было дано.

— *Камфора — очень неподатливый материал!* — произнес Художник со вздохом.

Он на нее не глядел, но обращаться больше было не к кому. Мазакуаль по-своему довела до Художника, что он слишком критично относится к своему творению, тем более, что работы непочатый край.

А когда Художник встал и подошел-таки к ней, он уже воспринимал рану на бедре Мазакуаль не как бродяжью метку, а как несчастье, постигшее живое существо.

О нерожденном сыне

Наала и Саша, сестра Ники, стояли на хаттрипшской трассе, собираясь ехать в Сухум. Мимо них в обратную сторону, твякнув им сигналом, проехала «Волга» Ники. В машине с Никой был Кесоу.

— Чего ты тянешь, братуха? — спросил Ника.

Кесоу смолчал.

— Тянуть тут нечего. Дождешься, что достанется другому.

— А если она потребует, — начал соглашаться Кесоу, — чтобы я стал стахановцем? Сказал же дядя Платон: *«Если бы мужчина изначально был таким, в кого его переделывает жена, разве бы она вышла за него!»*

— Вот и будешь стахановцем. Начнешь работать в Обезьянней Академии.

У Кесоу уже все мысли были только о женитьбе. Конечно, его смущало, хоть и не очень сильно, что Наала — соседка. Джигит должен брать невесту за семью реками. И еще его смущало, что нет у него ни работы, ни, соответственно, доходов, но и это смущало не сильно, потому что знал: будет Наала рядом, он и отнесется ко всему серьезнее.

— Мне бы твой возраст! — продолжал заводить его Ника, словно в этом была необходимость. — И твою башку!

— Разворачивай! — сказал Кесоу.

Легкомысленное решение начало осуществляться.

Четверть часа спустя машина подъехала к девушкам. Ребята сказали им, что едут в Сухум, и посадили девушек в машину. Включили музыку, поехали с ветерком. А на одном из поворотов объявили, что сейчас же повезут их в горное село к родственникам. Напрасно девушки просили их не делать

этого, но машина уже ехала в сторону гор. Сестра Ники не посмела послушаться брата и стала соучастницей похищения. Наала плакала.

— Одумайтесь, ребята, — просила она. — Я не позволю, чтобы меня хватали на улице. Не надо портить наших отношений, Кесоу. Я прошу тебя!

Но, видя сомнения друга, Ника решительно взял инициативу в свои руки.

— *Нас и так мало!* — сказал он.

— Разворачивайте машину! Это не по-людски! — твердила Наала. — Я с тобой не останусь!

Она понимала, что ее хотят поставить перед фактом. Умыкание и последующее вмешательство людей призваны рассеивать сомнения у патриархальных девушек: они смиряются с судьбой. Может быть, и с Наалой было бы так, но...

Что он будет делать дальше, парень, который умыкнул любимую и привез в горное село к родственникам? Есть разные варианты, а Кесоу из них выбрал самое плохое: он заженхивал, то есть стал прятаться от взрослых. Инициативу перехватили хозяева и соседи. Известное дело: горцы отличаются гостелюбием — не успела машина, сигналив, въехать во двор родича, как сыновья родича, словно этого и ждали, кинулись забивать самого большого бычка из стада. Наала плакала, но все, даже женщины, отнеслись к ее слезам как к обычному проявлению скромности в такой щекотливый момент. Кесоу больше с ней и не виделся — во власть вошли обычаи. Как когда-то счастливый дядя Платон, он теперь мог попасть к ней только на восьмой вечер. Но, если Платон, прежде чем жениться, слышал от суженой твердое: «Выйду за тебя, выйду, не ворчи!», то Кесоу от Наалы только: «Я с тобой не останусь». Он знал ее гордый нрав, но, раз отдавшись течению обычаев, так и не предпринял ничего. А Нику посадили со старшими и, рассказывая байки о деде его Савлаке, не выпускали из-за стола. С родственниками мы сладим, говорили они, не беря, увы, девушку в расчет. Село запировало: взрослые на одной стороне, молодые — на другой. Тем временем в Хаттрипше узнали о случившемся, очень быстро вычислили, где похитители могут быть, и вскоре туда прибыла делегация во главе с Платоном, который хоть и приходился родным дядей Кесоу, но поехал с родными Наалы в знак особого уважения к ее семье.

Мужчины остались ждать у ворот, не заходя во двор. Зайти во двор означало стать гостями, врываться же к девушке немедленно — демонстрацию враждебности. Если девушка подтвердит, что ее привезли без ее согласия, тогда и семья Кесоу, и семья, в которой Наала была сейчас, становились кровниками ее семье. И потому они послали к девушке женщин и ждали внизу. Зайти к девушке они могли потом, даже если она передаст, что привезена добровольно, чтобы услышать это из ее уст, но и в этом случае они бы не остались гостевать, потому что формальная вражда сохранялась, пока люди не вмешаются и не склонят ее родных принять подарки в знак мира и родства.

Женщины взбежали в комнату, где сидела Наала в окружении девушек из этого села.

— Ты давала ему слово? — спросила ее тетушка.

— Нет.

— Тогда ступай с тетушкой!

— А надежду? — уточнила женщина горного села.

Вместо ответа Наала зарыдала.

— Так ты давала ему надежду? — местные женщины ухватились за соломинку ее молчания.

Наала опустила голову.

— Она стесняется, милое дитя! — обрадовались горянки. — Перестанем ее мучать! К чему держаться за дикие нравы! Пусть молодые сами решат.

— Чтобы выколоть мне глаза, несчастной! — воскликнула тетушка. — Разве ты могла дать ему надежду?

После мучительной паузы Наала произнесла:

— Я играла с ним в шахматы...

— И много говорили о жизни! — подсказывали девушке горянки.

— Чтобы выколоть мне глаза! — сказала поверженная тетушка и отошла в угол.

— Молодые играли в игру! — заголосили восторженно горянки. — Девушка — не девушка, а алмаз, но и наш — парень замечательный.

— Я не останусь! — твердо произнесла вдруг Наала.

— Тогда ступай за мной! — ожила тетушка.

— Пусть молодые поговорят! — уже проявляли твердость горянки.

— Несите шахматы! — сострил кто-то.

И, пока не вмешались мужчины, решили дать молодым поговорить. Привели Кесоу. Он потребовал оставить его с Наалой наедине.

— Конечно. Выйдем, пусть молодые поговорят! — с готовностью отозвались хозяйки.

— Нет! — сказала тетка. — Я не могу оставить девушку с человеком, не зная, что у него на душе!

Но Наала подала знак, и она покорилась.

— Наала, разве ты разлюбила меня? — спросил он, когда их оставили одних.

— Я не потерплю, чтобы меня неволили. Ты мог все сделать по-людски.

— Наала, я не замысливал похищать тебя. Все получилось на ходу. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

— Нет, я не останусь.

«Скоро будет война. Я хочу, чтобы ты родила мне сына!» — рвалось из Кесоу. Но он не сказал. Победила обида.

— Ты это твердо? — спросил он.

— Да.

— Прощай! — сказал он и вышел прочь.

Когда вернулись женщины, Наала попросила позвать мужчин. Мужчины пришли. Девушка заговорила твердо. Она сказала, что по отношению к ней непочтительности не было допущено, если не считать того, что ее привезли без ее согласия. Прежде, чем она поедет с родными домой, она требует от них дать ей твердое обещание никого в случившемся не винить, кроме ее самой.

— Поедем, дочь моя! Я привезу тебя деду, хоть и стыдно мне явиться пред его глазами после того неуважения, которое наша семья позволила себе по отношению к нему. А вы, мои сородичи: как видите, этот юнец только и знал, насколько вы нам родны. И пусть ваша прервавшаяся радость будет позором на мою седую голову!

Напрасно хозяева увещевали дядю Платона, напоминали, что женится не кто-либо, а его родной племянник и что он должен быть на его стороне: Платон был непреклонен. Уважение к нему остудило горячие головы. Девушку увезли.

— Что за молодежь пошла, Платон! — голос бригадира вернул вдруг старика в этот мир отражений.

А мыслями Платон был очень далеко. Устав слушать встревоженную болтовню соседей в машине, он глядел в окно. Солнце опускалось в море.

Он видел серые облака, расположившиеся тонкими волнистыми линиями, как ложится земля после вспашки. Я не могу описать этот закат подроб-

нее, но, глядя на него, Платон знал: в старину, когда по закату умели предсказывать и погоду, и житейские дела, и, конечно, народные судьбы, видя такое расположение облаков, говорили: это *народ* и это *беда*. Вечер за окном автобуса говорил старику, что в своем непознанном движении народ вступил в *тень*. Тяжкие испытания предвещала эта тень, которую грамотные именуют: *история*, а люди зовут: *беда*. Он уже знал, что останутся от деревни Хаттрипш одни пепелища, и что будет такое время, когда вынудят людей покинуть свои очаги и могилы и уйти на нагорье, где они познают горечь чужого хлеба; что сады, виноградники и лужайки перед домами зарастут терном, а собаки будут выть от голода и одичания; и что будет такое время, когда небо покроет свинец, и холмы задрожат, и горы; и что свиньи попробуют человеческого мяса, потому что живые не будут успевать хоронить мертвецов.

Солнце между тем низко опустилось над морем. Зловещее расположение облаков исчезло. Теперь на горизонте было одно единственное пушистое облако, которое, отстав от солнца, высоко-высоко плыло по небосклону. Наполненный предчувствием появления знака, старик приковался к нему взглядом. И знак появился.

— Вообще! — сказал Платон.

Это была она! И пусть слезы, застывшие глаза, не дали ему поразиться вдоволь видением, но и мгновение преисполнило его веры в то, что несчастный народ выстоит!

В нем, в этом прозрачном облаке, словно в волшебном окне, отразилась Золотая Стопа Отца.

И именно в этот миг его позвал сосед.

Когда в машине женщины заголосили, заобсуждали случившееся, склоняя поступок Кесоу на все лады, Наала почувствовала себя так скверно, как никогда.

— Кесоу, я люблю тебя! — прошептала она неожиданно вслух.

— Что ты сказала, доченька? — спросила тетка.

Наала не ответила.

На второй день ее отправили в Сухум, подальше от пересудов.

О кладезях мудрости

Мазакуаль почти придумала прием, с помощью которого она могла одолеть свою обидчицу. Ей пришлось даже прибегнуть к помощи Хозяина, хотя он об этом не догадывался. Иначе было невозможно: читать-то она не могла, а если бы и могла, кто же пустит собаку в республиканскую библиотеку!

Задача состояла в том, чтобы узнать, какие есть слабые и уязвимые места у породы собак, к которой принадлежала обидчица. Ибо так мудро устроена природа, что могущество, коим существо наделено в одной области, обязательно бывает уравновешено соответственным ничтожеством в другой. Именно это соответственное ничтожество необходимо было определить и изучить. Тут возникали дополнительные сложности, вызванные тем, что все-таки общение между человеком и собакой затруднено. Хозяину было бы намного легче, если бы он четко и ясно понял, что именно нужно знать собаке. Но описание того, как происходило это уникальное в некотором роде взаимопонимание между человеком и собакой, не входит в задачи нашего повествования.

Мазакуаль объяснила Хозяину, на кого она конкретно дышит ядом. Они сели в кофейне напротив дома, где обитала эта падла, и дождались, когда хозяюк вывел на прогулку ее акулю морду и поросячий хвост. Эта дура, эта

кравля, вы думаете, она узнала Мазакуаль, встретившись с ее глазами своими кровавыми щелочками? Нет, профура, блин, ее даже не узнала! А как она ссала! Как будто дерево, к которому она встала, поднимая то, что у обычных собак зовется лапой, специально для этого было тут посажено!

Гордые глаза Мазакуаль горели жаждой мести. Она прижалась к ногам Хозяина, что проделывала крайне редко. Она не трусила, а осознала свое бессилие на данный момент. Она не жаловалась, она просила помочь ей самой осуществить возмездие. Может быть, Хозяин не понял всей этой гаммы чувств собаки, но зрелищем бультерьера был настолько потрясен, что назавтра же набрался смелости и пошел в библиотеку, куда и без этого его почему-то звала душа, чтобы как раз прочитать об этой собаке.

Мазакуаль была довольна: все шло по плану.

Могель, чего уж таить, в библиотеку зашел впервые. Если не считать маленького книжника в Великом Дубе, где продавщица сельмага Маквала работала по совместительству, и, чтобы отперла его, надо было найти к ней особый подход. Могель и не просил ее. А тут было здорово! Светлые залы, убранные цветами, а главное — море книг. Могель в глубине души был книголюб, эти полки до потолка, полные томов, старых и новых, привели его в волнение. Учтивая девушка помогла ему преодолеть смущение. Услышав, что его интересуют некоторые редкие виды собак, а он подготовил именно такую фразу о редких видах, она принесла не книгу, как он ожидал, а принесла целую кипу, от больших фолиантов до малых брошюр. Вслед за этим Могеля пригласили сесть в уютном уголке у окна, где он мог спокойно, в тишине эту литературу изучить.

Перелистав все поданные ему книги, Могель остановился на большой иллюстрированной энциклопедии собак одного иностранного автора. Самые разнообразные собаки. Собаки всех пород. Собаки всех времен и народов. Как-то он остановил внимание на одной из них, которая показалась ему чертовски похожей на его Мазакуаль, прочитал довольно лестные ее характеристики, но обманчивой схожестью с простой дворнягой не соблазнился, а пошел листать дальше, пока перед ним не предстал американский бультерьер во всем своем жутком великолепии. Его разновидности, его история, его достоинства, недостатки. Могель читал очень внимательно и заинтересовано, поэтому не сразу заметил, что эту заинтересованность кто-то разделяет с ним, пока сама себя не обнаружила, задышав и притершись к ногам, его Мазакуаль. Явилась-таки, плутовка, захихикал он в кулачок и тайком от смотрительницы щелк ее по уху. Собака улыбалась во всю морду. Тише, Хозяин, дорогой, заметят же, как бы говорила она ему. Она видела все картинки.

— *Тут, Мазакуаль!* — восхищенно прошептал Могель.

Собака послушно удалилась. Сделала она это так же незаметно, как пришла. Могелю уже нечего было делать в библиотеке. Он собрал книги, встал и направился к столику выдачи.

Вдруг шаг его стал неуверенным. Шестым чувством, которое у него обнаружилось, он ощутил знакомое тепло. Откуда оно? Поднять глаза! Этому не могла быть причиной замечательная девушка, выдававшая ему книги. Это не могли быть книги. Книги он любил, но не настолько, чтобы они улыбались, завидев его издали. Ему бы поднять глаза...

Поднять глаза оказалось непросто, так же, как идти ровным шагом. Но упрямый Могель все же шел, и глаза тоже поднял. Отягощенный гирями смущения, взгляд его дрожал.

Но тут и видеть было нечего: это была она.

Это была та самая абхазка. Она сидела на месте выдачи книг. Она сидела боком к столику и вязала, повернув работу к свету из окна. Могель залюбовался профилем, склоненным над работой — и насупил. Он нароч-

но зашумел. Она подняла голову. Узнав его, зарделась, заулыбалась, но еще непонятно было, как она заулыбалась, эта абхазка: как просто знакомому, или был тут и другой *делихор**. Абхазка отложила работу и встала, успев подхватить шаль, соскользнувшую с узких плеч.

«Вот бы мне жениться на ней», — подумал Могель, но пока сомневался, пришла ли пора, сумеет ли он это сделать.

Ты здесь работаешь, *гого***? Он сразу назвал ее на ты. Да, на полставки. Потом пауза. Могель волновался, но брал себя в руки. Конечно, ему не хватало развязности, но он успокаивал себя: не все сразу! Сначала они поговорят о самых обыденных вещах, далеких от того, что желанно юноше в беседе с девушкой. Вид у него будет уверенный, но скромный. Расспросит ее о деде, о тете, обо всех, с кем познакомился в деревне. Посмеются, вспомнив недоразумение, вышедшее с индейками... А может, об этом не надо?

«Ты видела затмение тем утром?» — «Тетушка ошиблась. Никакого затмения не должно было быть». Пауза. «А коров подоить успели?» — О, слезами залитые пороги! Она же сказала, что затмения не должно было быть! «Тетушка подоила коров рано утром. Но затмения не было». О, влажные пороги! Астрономический разговор тут должен идти или любовный? «А, я тоже всю ночь просыпался и беспокоился, что жабы...»

Абхазка рассмеялась, и хитрый Могель заметил, что еще одно слово о жабах — и будет конфуз.

— Значит ты здесь работаешь... А я, вот, пришел...

Пауза.

— Я знаю, что вас интересует американский бультерьер.

Снова пауза. Могель упустил ситуацию из рук.

— Не столько меня, сколько *одного моего друга*, — сказал он неопределенно.

Она продолжала с ним говорить на вы, и потому его «ты» звучало несколько бесцеремонно. Но менять ситуацию было еще сложнее. Он решил и дальше говорить смело и развязно.

Кончилось тем, что он назначил ей свидание. Конечно, это не было еще свидание в полном смысле. Но когда он, мол: можно будет приходить? — она: приходи, мол, поможем найти нужную литературу.

Нужная литература! О слезами залитый порог! Все шло как надо.

Потом он привыкнет, потом он пригласит ее, — с подругами сначала, а потом, глядишь, и без них — попить кофе, например, как тут в Сухуме заведено. Все шло как надо.

Будет приходить. Заодно читает книги. Почему бы не поступить в университет, на заочное или даже на вечернее!

Мысль об университете одобряет и брат, и невестка, и Мазакваль. Он будет приходить сюда!

Он зачастил в библиотеку. Вскоре он, делая глаза, гадал девушкам на кофейной гуще. Иногда он бывал чуть ли не единственным посетителем в зале.

Вот бы мне жениться на ней, думал Могель. Тем более, тут нечего сомневаться: я в нее уже влюблен. Он был влюблен еще с той самой бессонной ночи в абхазской деревне, но тут, в суете города, это было как бы забыто на время. А сейчас он думал: прописку мне сделали, работу ищут, в университет готовлюсь... А вот такая красавица, еще и абхазка!.. Я и так грузин, потому что мингрел; а если еще стану абхазским зятем, тогда, джима

* Дело (жарг.).

** Девушка (груз.).

урели*, не то что на «Москвиче», на шестерке почему не приеду в Великий Дуб?!

Все умеет она, все умеет; ты ее полюбишь, моя мать!

Слабость обидчицы была известна: ее необычайная, совершенно глупая нервность и вспыльчивость. Набросившись на жертву, она брала ее мертвой хваткой, — 18 атмосфер, как подтвердил бы Хозяин, изучивший материал. Он, Хозяин, молодец! Он сегодня же будет вознагражден. Он там, в библиотеке, кое-кого увидит, кого искала его душа!.. Словом, бросается падла на жертву и при этом от гнева и ненависти ослепляется настолько, что уже ничего не видит и не чувствует. На этой нервности и вспыльчивости она и погорит, прошмондовка! Теперь она, пани-курва, никуда не денется! Зауважает она собак, которые слабее ее, но, по крайней мере, на собак похожи! Узнает она, как кусаться походя. Пусть еще спасибо скажет, что рана несколько помогла Мазакуаль при знакомстве с Художником. Иначе она бы не просто попортила лапищу ей, а оторвала бы совсем, на кар!

План мести, который и сама-то Мазакуаль обдумала еще не до конца, в нашем изложении будет выглядеть еще более сомнительным. Она решила при ловле бультерьера использовать как наживку птицу, и именно петуха, потому что петухи необычайно храбры и не менее бультерьера заносчивы. Причем храбрость их растет прямо пропорционально успехам в курятнике. Она натравит петуха на бультерьера, как орла на зайца. Бультерьерша заведется с пол-оборота, вырвется из рук хозяюка вместе с поводком и, набросившись на птицу, схватит ее всей своей восемнадцати-атмосферной хваткой, ослепнув от ярости и потому уже ничего не видя и не чувствуя. И тогда Мазакуаль спокойно успеет, пока не вмешается хозяюк, загрызть ей лапу. Не оторвать совсем, а попортить, чтобы пани-курва потеряла товарный вид, чтобы хозяюк не мог уже балдеть, ее выгуливая. Чтобы этот хозяюк разлюбил свою сучку, чтобы прогнал ее, а то и усыпил. Нет, не надо, чтобы усыпил, пусть прошмондовка живет! Но пусть узнает и прелести бродячей жизни, как узнала прелести жизни на квартире у хозяюка! А тут — не деревня, тут собак держат и кормят как раз из-за внешности, а! Чем такая месть не великолепна, а?

Глупого петуха в Мингрелии еще поискать надо было, а тут, в тех же пригородах Сухума, у тех же самых мингрелов, что ни петух — обязательно тебе самодоволен, а, главное, уверен в себе и бесстрашен, как иной студент библиотечного факультета, который один на сорок девчат.

Как говорится в народе: генералы из генералов генерала выбирали. Выбран был самый отважный и гордый петух. Она привела его и спрятала под дальним пустынным вагончиком. Совершенно пустых вагончиков на турбазе в разгар летнего сезона вообще не было; имеется в виду вагончик, обитатели которого уходили рано утром на пляж и возвращались поздно вечером, хмельные, чтобы тут же завалиться спать, так что не только птицу, но и буйвола бы не заметили, заберись он к ним под половицы. Теперь предстояло познакомить петуха с собакой, чтобы он успел привыкнуть к отвратительному зрелищу бультерьера.

Мазакуаль не считала эту идею совершенной. Но обрабатывала ее с разных сторон.

А вечером, прежде чем проверить место под вагончиком Художника, Мазакуаль заглянула в самую мастерскую. Художник здорово поработал. Его скульптура преобразилась. Это отметил и директор, который как раз зашел,

* Мингрельское выражение.

чтобы в очередной раз взглянуть, как продвигается его заказ. На деньги, вырученные от реализации кур, доставляемых ему собакой, Художник приобрел в салоне худфонда инструменты, о которых давно мечтал. Неподатливое дерево покорилося тонким и удобным резцам. Теперь на лицах старцев вместо грубой хищности прочитывалась благородная задумчивость. Отвага на этих лицах, уступая морщинам лет, скромно устраивалась за мудростью. Намного воздушнее стала и фигура классика. Если вначале это была заурядная фигура интеллигента в костюме, то сейчас в одеянии классика мастер ушел от излишнего бытописания — контуры обрели зыбкие и плавные формы. Художнику удалось придать одеянию вид драпировки. И вот уже изгиб руки, как бы продолжая волну этой драпировки, смело завершался кистью руки с изящно выделанными пальцами. Стульчик же, на котором покоилась кисть на начальном этапе, был заменен вовсе. На его фактуре мастер замыслил вырезать фигуру собаки и уже сработал первые, пока грубые контуры, так что Мазакуаль предстояло еще ему позировать.

— Хорошо, — сказал директор турбазы хриплым голосом. И добавил: — *Абхазы и грузины — братья!*

Мазакуаль поняла, что он неформал.

Когда директор ушел, Художник обернулся к собаке, как бы спрашивая: «А тебе-то как?» Мазакуаль вздохнула одобрительно и удовлетворенно. Художник был польщен. Он сунул руку под соломенную шляпу, которую тоже намеренно приобрел, и почесал темя.

И вот уже собака спешила к петуху.

Собака заметила издали директора в том же неизменном одеянии: в белом костюме, в белых штиблетах и белом подшлемнике; удивилась, что же вынудило этого человека покинуть свой просторный кабинет и идти в этот жалкий вагончик. Наверное, решил лично проверить, все ли там в порядке. Но, подойдя к двери, Джушкуниани замешкался, придиричиво осмотрел себя, потом почтительно постучался. А когда зашел, собака услышала его хриплый «Гаумар» и ответ хора «джос!» — обычное приветствие неформалов, которых она еще в Великом Дубе невзлюбила. Мазакуаль поняла, что пустынный вагончик, как нарочно, именно тогда, когда она спрятала под ним пленного петуха, превратили в нечто вроде явочной хаты. Надо было петуха забирать отсюда — Мазакуаль знала по опыту, что думы о родине наращивают аппетит и что неформалы очень скоро найдут петуха и пустят его на свой скорбный и скромный стол.

— Грузия поднимет меч, — услышала она, подходя поближе.

Надо было торопиться. Она решила сегодня же вечером перепрятать птицу под вагончик Художника — там оживленней и все же безопасней.

И что вы думаете, петух так и просидел под вагончиком, дожидаясь, когда его найдут неформалы? Нет, он не был столь прост. Еще засветло он успел обжить самую красивую, благовонную и раскидистую магнолию. Уютно устроившись на ветвях, при ярком свете неоновых ламп, этот петух, к удивлению Мазакуаль...

Одним словом, петух, которого Мазакуаль по своей деревенской простоте намеревалась загубить в качестве обычной наживки для вражьей псины, был не кто иной, как поэт Арсен, талантливее которого не было птицы в междуречье Гумисты и Келасура. Так всегда не понимает деревня свою будущую славу, принуждая талант к бегству в столицу — альтернативе гибели в глуши.

Поначалу петух Арсен страшно смущался. Он надеялся, что протекцию ему устроит его новый друг — собака Мазакуаль. Но собака, приведя гостя к себе на турбазу, оставила его одного, под вагончиком, что было с ее стороны невежливо, а сама все бегала в библиотеку. Арсен не мог не чувствовать, что от райских птиц все-таки следует держаться на почтительном

расстоянии, пока сами не позовут. Это и сделало его обладателем магнолии. Но он уже видел, что прекрасные птицы ему благоволят. Он не понимал, чему обязан их вниманию. Как ни самоуверен был Арсен, он не заблуждался по поводу распространения своих мужских чар на павлинок-аристократок. Но благоволят — и слава Богу!

Между тем, все объяснимо просто. Тут сработало чувство умиления, которое просыпается нередко в душах представителей высшего сословия при виде самородка из простолюдинов.

И Арсен ощутил себя как Сергей Есенин в салоне Зинаиды Гиппиус. Он понял, что звездный час его настал.

Его безыскусные эклоги, его страстные буколики, в которых он рассказывал о еще нетоптанных, но уже созревших курочках, были полны первозданной чувственности, на фоне которой слушателям их собственные утонченные переживания воспринимались, видать, как болезненные и изощренные.

Арсен видел, что произвел впечатление. Значит, ему помогут. Он, конечно, несколько презирал своих слушателей плебейским презрением, но с плебейской же сметливостью сознавал, что это его выступление с магнолии отдаст филгярством, но зато оно откроет ему двери в мир широких возможностей, мир, где он сможет явить свой истинный дар.

А если бы он знал, что сегодняшний бенефис не только открывал путь к успеху, но попросту спас ему жизнь, он бы благословил птиц царицы и пел бы еще более вдохновенно...

Собака остановилась в изумлении. Завидев ее, Арсен приветливо кукарекнул с ветвей. Павлины во всей красе своего райского оперения расположились на газоне перед деревом и внимали петуху. Мазакуаль быстро оценила обстановку, и решение пришло ей в голову немедленно. Видя, как внимают петуху птицы, Мазакуаль решила, что петушиный гоготок воспринимается павлинами как знак распустить свои великолепные хвосты. Она не поняла, что попала на великосветскую тусовку.

Внимательный читатель должен помнить, что Мазакуаль задумывала подарить Хозяину павлина. Она не знала только, как заставить павлина распустить хвост, когда это надо. Теперь, как ей казалось, она это поняла. Так что идею использовать петуха как наживку она отвергла, по крайней мере отложила.

А разве дворняжка не права? Разве не на петушиный талантливый гоготок распускают павлины своих хвосты?! Разве не холила Зинаида Гиппиус свои ногти и боа, готовясь к встрече с Сергеем Есениным, от которого она требовала хромовых сапог и запаха сена после дождя!

О тени

Энгештер вообще не хотел Фото-Точки. Он сам всегда боялся сниматься. Еще в детстве Старушка говорила, что это русское изобретение — снималка. *Снималка высасывает из человека тень*, твердила она всегда, хотя ей в жизни пришлось сниматься только раз, в первый год, чуть ли не в первый месяц замужества, когда их отец покойный привез ее в Зугдиди. И вот, пожалуйста, ее сын в Сухуме сам снималку содержит. Что было делать, когда нэпсе именно такую работу нашла. Старушке он об этом не сказал; соврал, что имеет Пив-Точку, как нормальный очар*. Однако именно Фото-Точка кормила его семью, и он содержал ее так же любовно, как если бы это была Пив-Точка.

* Владелец лавки (тур.).

Чтобы больше было клиентов, на Фото-Точке как приманку, помимо фанерных Чарли Чаплина, верблюда и пингвина, Энгештер использовал живого медвежонка Боро. «*Си, Боро!*»* — обращался он к медвежонку с нежностью. Он так его сам назвал, когда подарили. Многие точки имели обезьянок, но медвежонок был только у него. Детям это нравилось, дети же составляли основную клиентуру Фото-Точки. Им деваться больше было некуда; они гуляли тут с родителями: рядом были берег, сквер, качели, Вечный огонь. Что до посетителей ЦУМа, на которых точка была рассчитана, то в последнее время в ЦУМ приходило мало людей: покупать там было нечего. Отдыхающих, с которых всегда был навар в былые времена, после начала эртобы почти не стало. А детвора была надежный и постоянный клиент. Дети полюбили сниматься с Боро. Энгештер даже в газету попал. Медвежонок Энгештеру дали сваны два месяца назад. Они завалили медведицу, а двух ее медвежат забрали живьем. Одного отдали в сванский ресторан, другого подарили Энгештеру за хлеб-соль.

Энгештер сам так придумал здорово, что, когда подходили дети, он подавал Боро бутылку с соской, полную молока. Каждый день он на рынке вынужден был покупать трехлитровую банку молока. Только на молоко уходило шестьсот рублей, как *яке*** . Но это себя оправдывало. Медвежонок трогательно вставал на задние лапки и пил через соску. Детям страшно желалось сфоткаться рядом с ним в этой позиции. Щелкнув кадр, Энгештер говорил медвежонку «Лопнешь, эй!» и, чмокнув его влажную мордочку и шлепнув по затылку, отнимал бутылку. Мазакваль, животное ведь, возмущала эта картина, и она невзлюбила брата Хозяина. Собака была убеждена: если книжница, к которой так равнодушен Хозяин, узнает, что жестокий снимальщик — родной брат Хозяина, это может произвести на нее неблагоприятное впечатление. Подумаешь, великое дело снимать на снималке! Этим нас не удивишь. Мы с настоящим Художником кусок хлеба делим.

А потом медвежонок взял да и околел. Отравился молоком. Рассеянный Энгештер забывал переставить банку с молоком в тень. В смерти Боро он винил себя. Он так к нему привык! Где я теперь нового найду, *иц дида пход ма****, расстроился Энгештер. Не только расстроился, но и напился в сванском ресторане, и не ради удовольствия, а с горя.

Но недаром Энгештер любил повторять русскую пословицу: «*Имей сто рублей, но имей и сто друзей тоже*». Друг помог ему и тут. У того был знакомый некроман Гуревич, который еще заформалинил ему тещу, когда та умерла. Золотые руки имел этот Гуревич: со всем, что мертво, он делал просто чудеса. Все чучела в музее тоже исполнил он. В Москву миллион раз приглашали, но он сказал: не хочу, я и здесь свой кусок хлеба всегда имею.

Заказали ему чучело.

— А и не стыдно ли вам! — сказал было старый Гуревич, но друг Энгештера напомнил ему в сильных выражениях, что клиент всегда прав.

Вскоре на Фото-Точке уже другие дети снимались на фоне чучела Боро. Но теперь была *экология*, и этот факт не остался незамеченным. Начальник УБОНа получил замечание. И без того злой, этот начальник даже попытался увеличить долю, которую ему отстегивал Энгештер, так что Энгештеру через друга пришлось напоминать, где работает его жена.

Экология при эртобе приобретала вес и авторитет. Именно она и сблизилась власти и неформалов. Несмотря на то, что неформалы требовали слишком многого — независимости, эртобы и т. д., власти вскоре поняли, что можно

* Ты, большеголовый! (минг.).

** Термин из игры в нарды.

*** Мингрельское крепкое выражение.

сотрудничать и с ними. И неформалы поняли, что во имя конечной цели можно использовать средства, которые находятся в руках у властей.

Одно дело заменить первого секретаря ЦК. Иное дело поколебать *мясокомбинат, УБОН, или нефтебазу.*

Пришла эртоба, и кресла закачались. Раньше, чтобы занять место мясного магната, надо было идти с деньгами наверх. Сейчас это стало возможно через неформалов. Вот проводят неформалы митинг. Первый вопрос, как и положено, — эртоба и сепаратизм. А вторым вопросом можно провести экологию. Мясной магнат имярек завез к нам мясо из Чернобыля, говорится на этом митинге. Имярек *начинает водиться*. Он пытается сначала по старинке, в кабинетах доказать, что мясо не из Чернобыля. Но доказать это невозможно; он представляет накладные, из коих явствует, что мясо на самом деле из Краснодара, но накладные ха-ха-ха! Его старания только сильнее убеждают публику, что мясо из Чернобыля. Свой народ хотел отравить ради денег! Не верят коммуняге, потому что он *начал водиться*. Имярека снимают.

Или надо заменить начальника УБОНа всей Грузии. Прекратить устаревшую практику бритья в парикмахерских, заявляется на митинге вторым вопросом. Не может нация подвергать себя риску заразиться СПИДом, а красноперому — лишь бы деньги!.. И начальник УБОНа *начинает водиться*. Существует сложившаяся культура нашего южного человека в парикмахерской. Это — целый ритуал, товарищи! Опасное лезвие свистит и сверкает, гуляя по-над ремнем, а тем временем обыватель отдыхает душой под запахи одеколонов. Радио лопочет в углу. Разнежившийся в кресле клиент ведет с парикмахером философский диспут. Беседы отмечены идеализмом и бескорыстием, как на платоновых пирах. Другого Платона, древнегреческого. Приводя все эти доводы, начальник УБОНа чуть не становится сам философом, но... место теряет.

Видя *эти движения*, начальник нефтебазы уже сам приходит к неформалам на шапочный поклон.

В народе растет авторитет неформалов. Люди начинают видеть их силу. Люди воочию убеждаются в силе эртобы. Мясокомбинат, УБОН и нефтебаза в их сознании всегда были оплотами стабильности; кто поколебал их основу — за ним реальная сила. Народ начинает верить в возможность победы.

Эртоба становится бизнесом. Будучи советским человеком, или антисоветским, но принципа не меняет, покорный обыватель превращается в покорного бунтовщика. Его неприязнь к соседу обретает идеологическое оформление.

Но не будем отвлекаться на политику. Энгештеру удалось и свою ставку в УБОНе отстоять, и свое чучело. И дело было не в том, что жена работала у Лагустановича. Позиции властей слабели, а Лагустановича вообще отправляли на полную творческую деятельность. Теперь Энгештер был сам с усами: он вместе с другом вступил в Национал-демократическую партию, а также восстановил членство в Обществе Ильи Праведного и Справедливого.

...Только в голодной Индии съедают павлинов, во всем остальном мире они окружены почетом и поклонением. Они царские птицы, они птицы сераля, их обожествляют, изображают на гербах и символах. Даже у алчного Джушкуняни племя их пользуется вниманием. Гордый сын изысканного племени...

Но чур с подробностями! Павлин Вишнупату был заодно с Мазакуаль. Рассекречивать, как собака управлялась с птицами, повторяю, не входит в задачу нашего повествования; повествуем мы о людях, а не о животных, птицах и приматах. Если животные, птицы или же приматы, как, например, гамадрил Спартак со счастливой юностью и печальной старостью, все же выступают в нашем повествовании, то только для того, чтобы еще выпуклей показать судьбы простых людей.

Когда Хозяин вывел *книжницу* на кофе, Мазакваль с другом своим Вишнупату находилась поблизости незаметно, но неотступно. Как хотелось собаке, чтобы Хозяин, выйдя с книжницей из *книжняка*, пошел бы не сразу по набережной, где они непременно поравнялись бы со *снимальней* его брата, а догадался пройти с ней другим путем, подальше от этой глупой снимальни. Печально знаменитая снимальня находилась в непосредственной близости от книжняка, и книжница знала о ней наверняка, но зачем ей показывать, что там промышляет не кто иной, как родной брат Хозяина. Придет время — узнает, но раньше срока — зачем?

Могель же пожадничал; он повел абхазку так, чтобы невзначай поравняться с Фото-Точкой брата. Он хотел показать братану, что не успел приехать, а вот уже с кем гуляет. Рассчитывал и на то, что брат незаметно сунет ему денег.

Не хватало тонкости у Хозяина! Он не понимал, что теряет, а что приобретает. Ведь понятно должно быть, что книжница человек культурный и все, что она там увидит, только отвертит ее.

— Абхазы и грузины — братья! — сказал Энгештер, обрадованный успехом брата.

Он решил непременно сфотографировать Могеля и книжницу.

Однако это стало непросто для всех.

Если хочешь, чтобы получилась хорошая фотография, нельзя снимать против солнца, иначе на заднем плане кадра выйдет какой-то разноцветный веер, напоминающий хвост павлина с турбазы Джушкуняни. Чтобы не оказаться напротив солнца, надо было оказаться рядом с чучелом. Могелю пришлось изловчиться и так встать с абхазкой, чтобы и чучело в кадр не попало, и брата чтобы этим старанием не обидеть. Что до Энгештера, он не только не желал снимать против солнца, *неожиданное фото* тоже он не признавал. «*Не знаешь, что выйдет!*» — говорил он. Он потребовал, чтобы снимающиеся замерли с заданным выражением на лицах. Абхазка тоже немного стала *водиться*. Пойти на прогулку по набережной с парнем — на это девушка еще решилась. Но сфотографироваться с ним — это, по ее убеждениям, уже означало дать ему надежду.

Мазакваль пришлось поволноваться. Это мы о ней забываем, она о нас не забывает никогда. Они с Вишнупату давно были тут как тут, разумеется, незаметные. Вишнупату обещал оказаться в кадре в самый последний момент. Раньше, живя в Великом Дубе, Мазакваль слыхом не слыхивала о *йоге*. Она была в восторге, несмотря на то, что воспринимала по-собачьи лишь внешние стороны этого учения, как, например, умение своего родовитого друга перемещаться в пространстве и во времени. Его Божественная Милость был очень демократичен и того же требовал от Мазакваль. Князь был характером очень скромнен, но обмануть его — никогда не обманешь. Вот сегодня, например, когда Мазакваль попыталась *за просто так* прихватить с собой на прогулку по городу Арсена, а нужен был ей петух из-за его гоготка, стимулировавшего павлина распушить хвост! — Вишнупату пригрозил в шутку коготком и сказал: «Оставь парня, пусть лучше он зря не теряет времени, пока находится на турбазе, а что-нибудь сочинит». Мазакваль же, будучи по природе кроткой и смиренной, стеснялась друга. Она не могла сказать ему открыто, что именно эффект от его пышного хвоста ей нужен сегодня. Получилось бы, будто Мазакваль не ценит всего, что ей открыл друг, что она по-прежнему привязана к внешним деталям. Видимый мир, данный человеку в его ощущениях — это *майя* — иллюзорный покров, который накинута на глубинную сущность бытия.

Правда, Вишнупату сам азартно включился в дело. Для него все их похождения были не делом, а увлекательной игрой. Как он прост в быту,

восхищалась Мазакуаль, и как заносчивы те, кто не достоин, быть может, *камандалу** ему подносить. Павлин видел, заранее прощая, что собака была застенчива и хитровата: она комплексовала вместо того, чтобы сказать определенно, что ей нужно.

Предложить Вишнупату попасть незаметно в кадр — на это Мазакуаль еще решилась. Но считала неприличной фамильярностью предложить почтенному йогу еще и хвост распускать. Вишнупату и без того целый день пробродил по городу с ней, простой дворнягой. Или князь должен был догадаться сам, или нужен был фальцет.

Но и тут все сложилось как надо. В самый последний момент, щелкая кадр, сам Энгештер воскликнул фальцетом:

— *Птичка вылетает, слушай!*

Павлин был на месте и немедленно распустил хвост. Кадр наконец щелкнул: Могель и книжница, видать, замерли, как этого требовал Энгештер.

Теперь фото должно было получиться таким, как предполагала Мазакуаль.

О дне согласия

О, влажная страна! О, слезами залитые пороги!

Никогда не был так счастлив Могель, как в этот день на кратком жизненном пути!

В тот же день, когда он уговорил книжницу со странным, но таким ласковым именем Наала выйти с ним *на кофе*, исполнилась его мечта. Они так и не выпили кофе, но с ними произошло много чудесных приключений, и все завершилось тем, что Наала произнесла желанное:

— *Пусть спросит у моего отца.*

Многое в этой главе покажется невозможным и фантастическим. Но еще витязь Хатт из рода Хаттов говорил, что нет ничего невозможного в бесконечном нашем мире. *Все есть*, говорил витязь Хатт. Мне самому трудно объяснить, каким образом патриархальная и застенчивая девушка, хоть и студентка-отличница, могла в первое же свидание дать согласие юноше на его предложение руки и сердца, когда, ко всему прочему, они имели несчастье принадлежать двум народам, которые уже, собираясь на площадях, открыто угрожали друг другу. Многое вы поймете, прочитав эту главу, многому я сам не в состоянии дать объяснения, а что-то, не скрою от вас, милые читательницы, является предметом моего изначального умолчания. Но прошу вас поверить мне на слово, прошу вас последовать вместе со мной за нашими героями, и давайте будем счастливы, как и они: чайки сидят в ряд на перилах причала для катеров, море спокойное и густое, а там, где его синева сливается с синевой неба, идет, словно парит, белый корабль.

Чудеса начались с первых же шагов прогулки, когда Могелю, смущенному и не знающему, о чем говорить, как развлекать спутницу, пришла в голову непривычная мысль: преподнести бы ей цветок. Но где его взять, не срывать же на клумбе! И вот, как только они присели на лавочку, Могель вдруг рядом с собой, с противоположной от Наалы стороны, нащупал золотистую азалию. И преподнес.

Наала решила, что он припас этот цветок, пряча от нее до сих пор, зарделась и пригрозила ему пальчиком.

Честный Могель хотел было признаться, что никакого цветка он не припасал, но ведь это было бы глупо — рассказывать ей, что он сам не знает,

* Сосуд для омовения у индийских отшельников.

как цветок оказался рядом, или делиться своей догадкой, что это дворняжка следует за ними, незаметная, а вместе с ней, возможно...

А тут она вспомнила, как в тот памятный вечер, когда он случайным прохожим гостил у них в доме бабушки, Могель прочитал стихотворение.

— Вы любите поэзию?

О, влажные пороги. Опять бы Могелю признаться, что он прочитал единственное стихотворение «Лоза братства», которое знал наизусть, — что в этом предосудительного? Вместо этого он стал читать. Бывало ли с вами такое, друзья, чтобы одна половина ваша вдохновенно читала стихи, незнакомые другой, и другая удивленно ее слушала? А с Могелем именно такое и произошло.

*Если в дверь постучит коробейник
И одарит за так барахлом,
И цветком оглушит репейник,
И срастется любовный разлом,*

*Если люк обернется пещерой,
Где стрекозы трепещут слюдой,
И развеется плащ темно-серый,
Точно зная страны молодой,*

*И другие чудесные если
Станут яслями, верой, ковшом,
Это значит, надежды воскресли
И, как дети, пришли нагишом.**

А когда они встали и прошли еще немного по берегу, кого же видит Могель восседающим на уединенной лавочке в тени олеандров? Павлина, приятеля Мазакуаль. Ясно, что и плутовка где-то рядом. Следит, стало быть, — переживает. Могель просто подмигнул птице в знак того, что узнал ее, и хотел пройти мимо. Что же делать, поди объясни девушке...

— Вы знаете этого *старика-кришнаита*? Он здоровается с вами.

О, влажная страна! Как теперь себя вести? И почему павлин — и вдруг старик.

— Молодые люди, не найдется ли у вас немного времени, чтобы побеседовать со мной? — говорит павлин.

— Конечно! — восклицает Наала, словно это дело обычное.

И вот они сидят на лавочке, одесную и ошую от него.

— Вы — кришнаит? — спрашивает Наала.

— Я Брахмавиданта Вишнупату Шри, — отвечает странное существо. — Я прибыл из Тибета и проживаю инкогнито на турбазе Джушкуньяни. О моем присутствии здесь, помимо племянника Рабиндаранта, знают лишь три моих новых друга — Мазакуаль, Арсен и ваш благородный спутник.

— Вы мне не рассказывали, Могель, — произнесла девушка с упреком.

— ?

— Ваш друг это подтвердит, — проговорила птица, — я прибыл сюда, потому что этот благословленный край — один из мощных энергетических полюсов. Но сегодня брамины встревожены, что край этот волнуется.

— И вы можете нам помочь?

— Все, что происходит на земле — это всего лишь тень того, что в горнем мире уже произошло, — загадочно произнес павлин.

* Стихотворение Татьяны Бек.

Пауза. Мимо шла женщина, держа за руку ребенка.

— Мама, мама! — воскликнул малыш. — Погляди, у девушки на плече сидит павлинчик!

Он хотел сказать это матери по секрету, но колокольчик его голоса был слишком звонок.

Мать обернулась, посмотрела на Наалу с удивлением, но, считая невежливым уставиться на незнакомых, оторвала взгляд и пошла прочь.

— Простите, — в свою очередь удивилась Наала. — Неужели вас кто-то видит как павлина?

— Я тут инкогнито, — вздохнула птица.

«Я тоже, я тоже вижу только пав...» — заклокотало внутри Могеля, и он поднял глаза на... От неожиданности его даже передернуло. Вместо птицы рядом с ним на лавке сидел старик с белоснежной бородой, закутанный в белоснежное покрывало и с белоснежным родом башлыка на голове. Он вспомнил: Старушка говорила, что именно так выглядят Ангелы. Было ясно, что это — чудо, которое бывает в жизни раз. Хотелось его спросить о самом главном. А что есть самое главное?

— Самое главное: не упускать из поля зрения Золотую Пяту Отца, — произнес старик.

— Так всегда говорит мой дед! А он — неграмотный.

— Твой дед *Батал* — просветленный человек. Чтобы постичь сущее, нужны не образование, а любовь. Он последний из тех, кто знает. А вообще у вас тут забыли знание. Нынешние ваши старики суетны и щеголеваты.

— Что нам следует делать? — спросила Наала взволнованно.

— Ты, дитя мое, и ты, — сказал старик, взяв их руки и вдруг соединив их, — любите друг друга. И ничего не ставьте выше любви. И тогда вас не разлучат. Вас ждут большие испытания, потому что благословенный край, где вы живете, стал волноваться. И если вы не забудете, что ничто не главнее любви, вас не смогут разлучить, и вы не погибнете.

— Пусть спросит у моего отца, — успела-таки сказать патриархальная девушка.

— Спрашивайте у Отца, чью Золотую Стопу вы видите, — сказал старец и...

...когда промелькнули в белесой синеве яркие оперенья и когда прошестели крылья в вечерней тишине, она поняла, что голова ее покоится на плече юноши.

...Мазакваль была счастлива не менее Хозяина. Особенно она была благодарна друзьям. Она только цветок подсунула Хозяину, остальное сделали они. О миссии Его Божественной Милости и говорить не приходится, но и Арсен нашептал на ухо Хозяину один из лучших своих стихов.

О пленниках мирской суеты

Финское зеркало в резном багете отразило Матуту. Он встал, чтобы узнать, что за шум на улице, и, проходя мимо зеркала, отразился в нем, высокий и неприятный. Это финское зеркало в резном красивом багете льстило Матуте. Он приобрел его сам для *Оффиса*. Все есть у меня, считал Матута, — и авторитет, и деньги, а в последнее время и семейное тепло. Здоровье тоже, несмотря ни на что, пока — тыфу! тыфу! — не подводило. Он только досадовал втайне, что в свое время не вышел ростом. И еще ему казалось втайне же, что в его зловещем обаянии было больше обаяния, чем зловещести.

— *Клянусь моей Даро*, я очень добр! — злился иногда Матута про себя.

А финское зеркало с резным багетом ему льстило: он отражался в нем высокорослым и неприятным.

Оффисом в городе называлось целиком все это предприятие, которое особенно приблизил к сердцу Матута. И хотя это было транспортное предприятие, где и парторг был, и начальник, только в бумагах оно значилось как такое-то предприятие, а в городе прочно за ним укрепилось звучное название *Оффис*, которое властно вторглось в нашу жизнь и нашу речь намного позже. Матута в последнее время часто бывал тут и даже оборудовал в собственном вкусе просторную комнату, давшую название *Оффис* всему предприятию. Ему хотелось время, которое оставалось у него до того дня, когда он удалится от всех дел, чтобы последние три года жизни посвятить душе, провести в свое удовольствие. А оставалось чуть больше месяца. Вчера Даро сказала ему со слезами на глазах, что во второй половине августа он может начать отсчет последних трех лет жизни.

Матута, когда приводил Дарико в дом, больше всего беспокоился, что ее не примет мать. Дом был единственным местом, где мать могла гордиться генеалогией. У нее и у сына что по материнской линии, что по отцовской были только княжеские крови. И хотя она переживала, что сын бобылем и без наследника, но всегда говорила ему:

— Ты должен жениться на княжне!

— Хорошо, мама, — с легкостью обещал ей сын, потому что профессия возбранила брак, и он не собирался жениться.

И на тебе — привел в дом женщину, да еще цыганку.

И вдруг матушка поладила с баронессой-чавелой!

— Жаль, что слишком стара, — шутила мать. — Не то неплохо зарабатывала бы на гадании.

Потому что сноха научила ее раскидывать карты. Карты ее развлекали. Но и пугали.

— Доченька! Дарушка! — позовет она бывало.

Сноха прибежит.

— Это *смерть*?

— Нет, *исполнение желаний*, мама. Это хорошая карта.

Однажды свекровь спросила сноху:

— Ты мне скажи, Дарушка, смогу ли я умереть, не увидев вашего несчастья?

— Карты этого не показывают, — солгала она свекрови.

Не сказала она несчастной старухе, что много плохого припасено ей и на старость лет.

Матуте было немного жаль и маму, и чавелу. Они или все сидели дома, или ходили в церковь. А в церкви священник корил их за пристрастие к гаданью. Они уверяли Матуту, что им вдвоем вовсе не скучно, тем более, что у них есть кошка. Матута купил им «Самсунг» с широким экраном, видак, музыкальный центр и даже компьютер «Пентиум», хотя ни они, ни он им пользоваться не могли. Мама решила, что компьютер в доме излишество.

— Подари его гуманитарному институту, там он нужнее! — велела ему мать.

Матута тут же сообщил в институт, чтобы приходили и забирали компьютер.

— Как записать, от кого подарок, — спросил смущенно завхоз института, раскладывая бумаги на письменном столе Матуты из мореного тиса.

— От заслуженной учительницы Абхазии Анчабадзе Веры Александровны, — сказал Матута не сердясь.

Машину унесли. Но вскоре Матуте намекнули, она недоукомплектована. Он купил от имени матери еще и лазерный принтер. А еще у института денег

не было на охрану: компьютер все время воровали. Матута дважды всех поднял на ноги и сделал возврат, а в третий раз не успел...

— А какой это день недели? — спросил хладнокровно Матута, когда чавела открыла ему день, от которого ему можно было отсчитывать свой срок земной.

Какой это день недели? Сию минуту! Дарико стала раскладывать карты. Матута захохотал и просто справился в календаре.

— 16 августа 1989 года — это будет среда. А в первую же субботу, то есть 19 августа, на третий день, мы обвенчаемся в Лыхненской церкви.

Дарико, которая никогда, ни разу перед этим даже не намекнула Матуте, что ей хотелось бы видеть узаконенными их отношения, сейчас так бурно проявила радость, словно было забыто, что по всем предсказаниям на третий год после названного дня ей суждено стать вдовой *на один день* и ни о каком венчании турихе не говорили знаки судеб. Она была счастлива просто от благородного порыва ее гаджио. Она бросилась ему на шею и закружила жигана, паря сама при этом в воздухе.

— Мама зайдет, Даро-дур! — прошептал ей жарко на ухо Матута и поставил чавелу на ноги. И несмотря на то, что он был крепок в руках и в ногах, а чавела — легка, словно перышко, Матута слегка запыхался.

— Мама на рынке! — воскликнула Дарико, подталкивая его к клавишину. Она сегодня прощалась со своим гаджио.

Когда-то Матута ушел на срок за клавишину, который стоял у полковника Коявы, который на нем не играл, а сам Матута не только играл, но и мечтал стать композитором. А вместо этого, дел де марел три года, пробыл 19 лет там, где пасут медведей. Теперь-то клавишину у него был.

Чавела усадила его за клавишину. Ей хотелось сплясать под песню своего отца. Эту песню Бомборов Кукуна сам пел под гитару в торжественные дни, и весь табор плясал под его гитару и хриплый баритон, а потом раздавались подарки и прощались долги.

«Я — цыган с тоскою в сердце и с серьюго в ухе.

Перестали песни петься что ли с бормотухи.

*«Хоть за то, что славим Бога в стольких поколениях —
примостись, моя Тревога, на моих коленях.*

*«Ай, как выйду при народе, я, Мануш-Саструно, —
пальцы верные забродят да по жестким струнам.*

*«Хоть за то, что мы страдали, мялись у порога, —
примостись в кибитке старой, ты, моя Тревога!*

«Я — цыган. Люблю раздолье. Никогда не плачу.

Расскажу я вам о Доле, а Тревогу спрячу.

*«Хоть я вроде тоже что-то для чего-то что-ли:
не бывает доли доброй; есть лишь злая Доля.*

*«Ай, отдам за злую Долю всех своих красавиц,
коли с этой красотой в таборе остались.*

*«Хоть за то, что Доля злая далеко-далёко,
ай, живи, огнем пылая, ты, моя Тревога!*

«Я — цыган с тоскою в песне, старый, одинокий.

И единственный мой вестник — ты, моя Тревога!

— Ай-й-й! — сказал Матута и оторвал свои пальцы от клавиш.

— Ай-й-й! — сказала Дарико и замерла вполоборота, замерла с трепещущим платком в руке.

— Хорошо, что я не ушла на рынок, — сказала Вера Александровна.

Она стояла в дверях. Дарико подбежала к свекрови, обняла и стала целовать ей руки.

— Погонишь с вами! — смутился Матута и ретировался в другую комнату.

И, конечно, женщины заплакали. Они ведь не сомневались в предсказаниях.

Так был отмерен Матуте жизненный срок. И, конечно, Дарико не суждено было умереть венчанной вдовой. Карты не солгали и на сей раз. Но все это в будущем. А сейчас.

В ожидании, когда подъедет кто-нибудь из близких, с кем можно будет поехать обедать в эшерскую пацху, Матута сидел в оффисе Оффиса, дистанционной переключая телек с огромным экраном.

Брали интервью у большого министра, нашего земляка. Приятно же, когда там свой гуляет по буфету!

— Что скажешь, Седой? — проговорил Матута и прибавил звуку.

— *Я истосковался по лозе!* — четко произнес министр-земляк.

Сделав это честное и горькое признание, министр грустно-грустно заглянул интервьюеру в самые глаза. Может быть, для покаянного признания он выбрал именно этого молодого журналиста потому, что тот был из передачи, популярнейшей в силу своей неформальности? Кто знает. Но странно, что журналист *не понял*, о чем ему сообщали. Иначе он не преминул бы *ухватиться и развить*.

Министр запахнул халат. Ибо разговор происходил в салоне его персонального самолета, куда во время перелета в одну из африканских стран он взял с собой юного журналиста. Вот как гуляли наши люди под занавес СССР!

Кто из политиков, тем более задействованных в прежней системе, не заслуживает лозы, но не все способны в этом признаваться, и еще признаваться публично! Но министр всегда был непредсказуем. Конечно же, он, опытный дипломат, и сейчас произнес эту фразу с двояким смыслом. Журналист же был молод, неопытен и счастлив: он понял в услышанных словах именно внешний их смысл-маску: государственный муж устал, и всему предпочтительнее для него вернуться в родные пенаты, чтобы мирно ухаживать за виноградной лозой.

Замечательно, что смелое покаяние выходило из уст самого популярного министра, когда те дела державы, которые были вверены ему, шли особенно хорошо. И министр, заметив, что молодой человек не обратил на его крик души внимания, решил слова эти и вовсе стереть с его памяти. Следующая фраза его как бы отождествляла сказанное им намерении именно с виноградниками.

— *Пусть лоза еще подождет*, — сказал он, сопровождая свои слова характерным жестом, словно ласково отстраняясь от справедливых, но преждевременных розог.

И вдруг, незаметно для интервьюера Седой остановил на Матуте свой печальный взгляд. Это был взгляд начальника. «Атас, органы!» — мгновенно отреагировал Матута. Все восемь фрейдистских состояний зажглись в нем, как восемь лучей Звезды Жигана. Он уже вел себя так, будто был там, где небо в клетку. Матута выдержал взгляд, но уже знал, что начальник не простит ему этого.

Так поймал свой последний срок Матута Хатт, который никогда ни перед кем не опускал глаза.

*Села она,
о, Матута,
погадать про тебя на зеркале.
Села она,
о, отважный Матута,*

как это делала часто, —
но свеча
замерцала,
загасла,
забылась.

Только вызнать хотела:
ой, не дальни ли,
ой, не опасны ли
ждут тебя дороги, Матута;
не обманет ли удача;
не припозднится ли прибыль;
не нахмурится ль лоб твой, Матута;
не разлюбишь ли свою чавелу, —
а то не томиться ль тебе же
в казенном доме,
а не тосковать ли ей же
по тебе у оконца, —
но свеча вдруг
замерцала,
загасла,
забылась.

Но вскоре свеча
замерцала,
загасла,
забылась:
и не шуриание юбок,
и не звон монист,
и не дальняя дорога, Матута,
и, ой да не казенный дом,
и не тоска у оконца, —
в глуби зеркала
отразилось: народ!

Но вскоре свеча
замерцала,
загасла,
забылась,
исчезло прекрасное ее лицо,
и в глуби зеркала, Матута,
и в темно-синем свечении зеркала —
отразилось: беда!

Чтобы узнать, что за шум там на улице, Матута встал, отразился в зеркале, прошел к выходу и встал в дверях. Шурясь от яркого солнца, он прислушался к немолчному журчанию в колонке бензина, который в городе был только у него. Он стоял, высокорослый и неприятный, настроение у него было отменное. Бензин только у него, сейчас кто-нибудь появится, и Матута пригласит его в эшерский ресторан, чтобы самому туда не ехать. Так, что там за шум, братва?

Кто-то пререкался у входа со вневедомственной охраной. Это был неправильный поступок. Вход на территорию Оффиса был перегорожен всего лишь шпагатом, но перед кем охранники его опускали, а перед кем нет, — это решалось не ими, это решалось в городе вообще, потому что зависело,

есть ли авторитет у человека за рулем. Так что, когда некий нахал, не слушаясь охранников этих, все же въехал дерзко на территорию, охранники только замахали ему вдогонку руками, а остальное их не касалось. Если человек против их воли въехал на территорию, стало быть он бросил вызов действующему тут неписанному табелю о рангах, и наказывать его должны уже хозяева Оффиса.

— Кто этот котлоед? — громко спросил Матута, но никого не оказалось рядом.

А машина — неслыханная наглость! — на скорости, поднимая пыль, проехала по территории, резко затормозила, еще больше поднимая пыль, и остановилась перед Матутой! Да, ребята вышли из цехов, да, поспешили сюда, но котлоед уже стоял тут, а пыль, которую он поднял, лезла в растворенные окна. Говорить тут было нечего, потому что и без разговоров было ясно: котлоед. Матута вбежал в комнату отдыха, и, когда он возвращался оттуда, финское зеркало с резным багетом отразило холодный никель Стечкина. Котлоед был обречен.

Сам он, еще об этом не зная, решительно выскочил из машины, но тут что-то случилось с его решительностью, когда он встретил лицом флюиды Матуты. Вернее, он потерял решительность не сразу: «*есть здесь справедливость...*» — он сказал решительно, а «*...в конце концов*» добавил, уже постепенно сникая, и последние звуки прошептал так нерешительно, что снова стало слышно, как сладостно журчит и переливается в колонке бензин.

— *Держи, она твоя!* — сказал Матута и выстрелил. Пока ребята подошли и остановили его, Матута думал, что залетел на двести штук тогдашним курсом, тем более, что Агура из монтажного, видя, что Матута начал стрелять, долго не думая, выстрелил тоже, и тоже зацепил котлоеда, так что надо было выкупать заодно и надежного парня: у него портился кандидатский стаж в партию.

Но все обернулось сложной стороной. Котлоедом оказался известный актер и неформал Александрэ Бобонадзе. Он поймал две пули, одну от Матуты, одну от Агуры, и обе в ягодицу. Замять дело оказалось непросто в условиях гласности. Всё МВД и вся прокуратура сочувствовали Матуте, так сильно успел Александрэ Бобонадзе насолить силовым структурам своими принципами справедливости и горькими упреками в отсутствии единства. Но дело получило огласку. Оно стало принимать политический оттенок. На второй же день телевидение показало обезображенную сепаратистами задницу актера.

— Ты думаешь, мы сами не хотим денег! — сказали органы и смущенно арестовали Матуту.

Там, где видно небо в клетку, суждено было ему заняться душой. Его судили, дали пять лет за *хранение оружия* и отправили в Гегутский лагерь. А вскоре на Грузию дверь закрылась, так что Матуту близкие больше не увидели.

О медовом месяце

— Тогда чего же ты тянешь? Как раз сегодня — суббота! — воскликнул Джушкуняни. — Она согласна?

Могель хотел признаться в своих сомнениях, но что-то в нем властное заговорило и сказал:

— Да!

Джушкуняни немедленно позвонил секретарше.

— Всех наших, которые в баре — сюда! — распорядился он.

Неформалы явились, не понимая, чем вызвано внеочередное заседание.

— Браки между абхазами и грузинами по-прежнему показывают доволь-

но высокий процент, несмотря на разгул сепаратизма. Это ли не верное свидетельство того, что народ апсуа не разделяет идеи так называемых вождей? — сказал Джушкуняни.

Затем он немедленно позвонил в Пицунду, в дом творчества газеты «Правда» и заказал люкс на двоих. Выделил машины, дал Могелю тридцать тысяч рублей. Могель протестовал было, но Джушкуняни по-отечески сказал:

— Вернешь, когда разбогатеешь. То, что отдается на дело — возвращается с прибылью.

Затем он отдал своему заму распоряжение, где надо взять для молодых хорошее *терджольское* шампанское и деликатесы. А это был Годердзий, приятель Энгештера.

— В путь!

Сказано — сделано. Молодые люди расселись по машинам и так быстро рванули в сторону книжняка, что Мазакуаль, все слышавшая, радостная, и мечтать не могла поспеть за ними. Вишнупату, летя наперерез через залив, едва удалось их опередить.

Неформалы предложили подняться всем вместе, на случай, если девушка начнет упорствовать. Но потом было решено, что Могель пойдет один и поговорит наедине.

С сомнениями и волнением открыл Могель дверь, а в просторную залу входил уже с павлином на плече, видимым ему, да еще ей.

Несмотря на то, что было начало марта, самого переменчивого и злого месяца в субтропиках, все две недели простояли изумительные солнечные дни. Номер молодых был расположен на восьмом этаже. С одной стороны было видно море. С другой пицундская реликтовая роща. С третьей — озеро Инкит. Когда было безветрено, но море волновалось, волновалось и озеро, подтверждая слова экскурсовода, что озеро связано с морем подводным каналом. Одним словом, рай. Холодильник был полон. Пришли поздравить все неформалы зоны города Гагра. О политике — ни слова.

По утрам перед завтраком молодые гуляли по выложенной широким кафелем дорожке между самшитовым пролеском и пляжем. У дорожки, над песком пляжа были заросли тростника, совершенно похожего на бамбук, только ломкого. И так получалось, что именно ближе к девяти, когда отдыхающие выходили прогуляться перед завтраком, из тростниковых зарослей выходили сизые улитки и пытались пересечь дорожку по направлению к самшитовым зарослям. И на каждом шагу, раздавленные неосторожными подошвами ног, растекались их жидкие тельца.

Наала шла, осторожно ступая, чтобы не раздавить улиток, а Могель постоянно отвлекался, и только легкий скрип под ногами и легкое скольжение напоминали, что он опять забыл посмотреть под ноги. Сколько смеху было!

Могель купил Наале белые джинсы.

Две недели прошли незаметно. Однажды, когда, к счастью, Наала куда-то выходила из номера, позвонила Джозефина и сообщила новости.

Родные Наалы, узнав, что она вышла замуж, в сердцах поклялись, что проклянут ее и вычеркнут из памяти. Но проклинать не стали — это обнадеживало.

Так часто бывает, что долго не видят послушницу, но потом появятся дети, лекарь-время тоже сделает свое дело, не надо торопиться, говорила невестка с родственной грубостью. Более опасно другое обстоятельство: есть там один парень, который давно имел на Наалу виды. Он когда-то предпринимал неудачную попытку ее похищения, но Наала проявила тогда характер и не осталась с ним. После этого он был зол и отстранился от нее, но сейчас,

когда Наала вышла замуж, парень этот снова загорелся и, по имеющимся у нее сведениям, поклялся, что найдет ее и уведет от мужа. Джозефина предполагала, что он уже знает, что молодые где-то в зоне города Гагра, и для безопасности им следуют поменять место пребывания. Она же в свою очередь почти вырвала у Григория Лагустановича обещание арестовать этого парня, потому что за ним замечено, что он причастен к транспортным преступлениям. Сейчас дело за железнодорожной милицией, которой поручено поймать этого парня с сообщниками на факте. Одним словом, Джозефина звала молодых пожить у них на квартире. А там будет видно.

Не впадая в панику, Могель, однако, послушался невестки и на второй день уехал из Пицунды в Сухум. Тут он изловчился втайне от Джозефины предупредить Кесоу, не от себя, конечно, чтобы тот поберегся транспортных органов, которые заводят на него дело. Могель предполагал не задерживаться в Сухуме, а повезти жену в Мингрелию. Это ничего, что он приедет в Великий Дуб раньше, чем обзаведется «Москвичом».

Но в Сухуме инкогнито соблюдать стало трудно из-за широты души и тяги к дружеским застольям, свойственным натуре Энгештера.

Энгештер был рад, что брат женился, и невестка ему нравилась. Вот он и хотел сказать ей, что переживает за случившееся в Бзыби.

А случилось то, что автобус, который возвращался с митинга, проведенного неформалами на границе с Россией, забросали камнями. Никто, к счастью, не пострадал, но газеты неформалов назвали инцидент бзыбской трагедией. Слово трагедия в тот период с легкостью пускалось в ход, словно таким образом люди пытались задобрить судьбу, чтобы она уберегла их от настоящих трагедий.

Энгештер и хотел-то сказать, что абхазы с грузинами братья, и что рука, бросившая камень в грузина, пусть и принадлежала абхазу, но направлялась Кремлем. Но нэпсе не давала ему договорить: прерывала на первых же фразах и шутливо, с родственной грубостью тащила из комнаты молодых.

— Сколько раз я предупреждал! — сказал он.

Наала заплакала.

— Зачем слезы, дочь моя! — растерялся Энгештер. — Я просто хочу сказать, что предупреждал... — пытался он объясниться, но появилась Джозефина.

— Та-ак, оставить молодых в покое! — и вытащила его за шиворот.

Но не мог же Энгештер сидеть и спокойно смотреть телевизор, когда невестка его неправильно поняла!

И он — снова к молодым, в порыве братских чувств забывая, что невестка его слова воспринимает слишком эмоционально.

— Можно? — произносит он шутя. Конечно, можно, разве не пустит Наала старшего брата мужа!

— Налъете мне стопку, или нет? — удобно усевшись в кресле, шутит он. Потому что, если невестка не нальет, кто же нальет!

Испуганная Наала опять все понимает по-своему. Ей кажется, что деверь пришел с упреками. Какие могут быть упреки, когда он так рад за брата, когда невестка так пришлась ему по душе! Разве не видно, что он с самого начала запросто: придет, сядет в кресло, шутя, словно сами не предложат, попросит стопочку и, наконец, хочет объяснить, — а кто поймет его лучше, чем брат с невесткой! — объяснить, что предупреждал он: доведет Кремль братьев до вражды.

Опустив голову, Наала сдерживала слезы.

— Почему ты расстраиваешься, Наала, дочка! Я просто... Подоспевала Джозефина.

— Паразит! Ты опять за свое! — говорила она и вытаскивала смущенного и недоговорившего Энгештера прочь.

— Почему ты не даешь молодым покоя? Или если тебя, дурня, послали, мне на позор, в Народный фронт задавать провокационный вопрос — ты и вообразил себя деятелем! Где и кого это ты предупреждал? Скажи сначала мне.

— Годердзия предупреждал сколько раз, — воскликнул Энгештер смущенно.

Вот что он имел в виду: что часто, сидя за бутылкой вина с другом-свагом Годердзией, предупреждал его, что доведет Кремль братьев до вражды! Ну, не перейди после этого на гекзаметр!

*Дева и ты, что сегодня вкусить наслаждение земное
с милой избранницей жаждешь — внемлите!*

*Сей муж безобразный,
скифу подобно, из чаши вино неразбавленным выпив,
суетны речи заводит, внимать не желая, упрямец,
увещеваньям супруги. Даруй ей терпенья, Паллада!*

Энгештер не преминул дать зазнававшейся пиндоске достойный ответ в ритме шаири:

*Вот в духане интуриста я сию рублей на триста,
А душа, как говорится, все о древностях скорбит.
Между тем жена без денег. Я в глазах ее — бездельник.
Дом: подвал, четыре стены. Сына улица растит.
Мне семья моя — ограда. Но когда прощаю брата,
На семидесятом разе не могу уже простить!
Белый голубь в небе черном. О, не верит он ни в чем мне.
Не садится на плечо мне. Я не знаю, как мне жить.*

Джозефина была ласкова с невесткой.

— Будешь уставать от шумных гостей... Это мой дурень под предлогом, что брат женился, тащит всех своих приятелей. Сразу запретить не могу: обычаи. Придется и тебе потерпеть пару неделек.

Заметив с самого начала, что невестка печальна и задумчива, она вынесла изящную, несколько старомодную туфельку.

— Это моя туфелька. Фирма «Цебо». Пропала в мой медовый месяц, в шестьдесят шестом.

Обувка пахла, как старый черпак из винного погреба. Наала не поняла.

— Возьми и спрячь! — сказала она, предлагая Наале обувку.

Наала не поняла.

— Когда гости пожелают выпить за невестку из ее туфельки, не надо тебе свою обувку переводить. Предложи вот эту, — объяснила Джозефина золовке.

Наала не согласилась. Но когда во время ежевечерних застолий подходило время поднять за невестку как за хорошую хозяйку, то есть мастерицу накрыть стол и гости неизменно требовали туфельку, чтобы выпить из нее, Джозефина с несвойственной ей расторопностью бежала за исторической туфлей.

Шеф Джозефины, с которым у нее были не только служебные, но и человеческие отношения, имел дачу как раз в Хаттрипше, откуда Наала была родом. Джозефине было известно, что принимают родные Наалы, после ее замужества. Она потрудились донести до них, что муж Наалы как только они поженились, увез ее в деревню Великий Дуб и молодые задержатся там надолго.

Но не прошло и недели, как Наала не выдержала и собралась в библио-

теку повидать подружек и узнать от них новости. К тому же они так просили помочь в составлении письма. Наконец появилась возможность рассказать непосредственно Кремлю о всех злоключениях Абхазии. А Могель...

О служителях Мамоны

Вишнупату с удовольствием выполнял просьбу своего четвероногого друга. В его задачу входило проследить, не пойдет ли деревенский парень в библиотеку, которую четвероногая смешно именovala книжняком. Она полагала, что этот парень мог быть серьезным соперником ее нелепому Хозяину в борьбе за сердце юной библиотечарши.

Но Кесоу — а именно за его перемещениями надлежало павлину пронаблюдать — пошел не в библиотеку, а прямехонько направился к кофейне, где собирались люди его стаи.

Дело в том, что Кесоу тоже решил заняться бизнесом. Какого кара он будет мучить себя по вагонам, когда легко можно поймать неплохие деньги на посредничестве. Уже начиналась Великая Распродажа. Пошла охота за цветными металлами. Несколько маленьких ручейков этого, пока еще не бурного, но живого потока зажурчало в портах Абхазии. Хотя эти ручейки заходили в закрытые военные порты, как река в песок, но успевали все-таки промелькнуть перед народным взглядом, и народ тоже пытался успеть зачерпнуть из этих ручейков.

На сухумской набережной, в кофейне перед гостиницей «Рица» шел оживленный торг. Наименование и количество предполагаемых товаров имели характер сюрреалистический, а суммы назывались такие, словно речь шла не о долларах, а о пенициллине. В основном тут гуляла красная ртуть, но предлагались и змеиный яд контейнерами, и золото с серебром килограммами. Местная публика пыталась совершить сделки с абхазами из Турции. Это были потомки *мохаджиров*; их предки были депортированы с Кавказа сто двадцать лет тому назад, по окончании столетней войны и завоевания Кавказа. Сейчас, когда дороги открылись, они прибывали на «Кометах» взглянуть на историческую Родину. Эти прибывшие, как правило, не были коммерсантами и только вежливо обещали все разузнать по возвращении в Турцию и про красную ртуть, и про змеиный яд, и про золото с серебром. Но, продолжая слышать журчание утекавших через закрытые порты богатств, народ не оставлял попыток разок шапкой зачерпнуть из этого потока.

Тут были только посредники; никто из постояльцев этой кофейни товара не видел в глаза. Конечно, забегали порой в эту кофейню и те, кто эти товары видел — забегали пообщаться с народом и узнать политические новости. Но они молчали, а немолчный народ все пытался продать пару тонн красной ртути или стронция, читатель, чтобы хоть немного заработать, потому что, смущенно признавались они, жизнь пошла тяжелая и приходится заниматься незнакомым, еще вчера презиравым промыслом.

У Кесоу, в отличие от остального народа, товар имелся. Он предлагал *семьдесят центнеров оленьих пантов*, и лежали они не в Норильске, а тут, у доверенного лица в подвале дома. Совсем недавно они с Никой вынули товар из ереванского товарняка. Хотя до вскрытия вагона ящики улыбнулись ему, все же Кесоу тогда не хотел товар брать. Потому что улыбались они, помнитесь, ему прежде ни кара незнакомой, какой-то северной улыбкой. Но Ника настоял, и ящики забрали. Их вырвут у нас с руками и ногами по пятьсот пятьдесят баксов за килограмм, сказал он. Ты что, Кесоу, братуха, тебе только туфли, а я давно уже мечтаю поймать красную ртуть!

Однако товар лежал и гнил у Пахи в подвале под висячим балконом. Ни

барон Кукунович, ни комсомольцы, ни Хачик не хотели его брать, потому что не поняли, с чем его едят.

И вот Кесоу решительно подошел к группе мохаджиров, которые стояли, окруженные народом. Вырвав из круга пару человек помоложе, он предложил им свой товар. Скосив \$500, он назначил скромную цену в пятьдесят баксов.

Объясниться на абхазском языке, не приспособленном ни к торговле, ни к научной терминологии, оказалось непросто.

Есть в России такое место, куда и не падал взгляд Всевышнего: оно называется тундрой. Там даже летом снег лежит, и земля остается мерзлой. Даже олени там такие смиренные, что женщины их доят как буйволиц, а мужчины запрягают в свои арбы, тоже как буйволиц.

И вот, извините меня за выражение, но когда у них, у оленей, начинается гон, у самок, извините меня за выражение, внутри рогов образуется сок, который я вам и намереваюсь продать!.. Сейчас я вам объясню, зачем. Из этого сока, который образуется в оленьем рогу, изготавливают лекарство, которое помогает американцу, извините меня за выражение, кашлянув у порога, увереннее заходить в покои своей жены.

Слушатели были простые люди; они удивились этим сведениям об оленях, хотя один из них нечто в этом роде слышал в турецких кофейнях. Молодые ребята оказались, однако, с деловой хваткой. Они пригласили Кесоу в свой номер тут же, в гостинице «Рица», и не успел Вишнупату влететь в номер через исторический балкон, а они уже звонили в Турцию по спутниковому телефону.

Их ответ оказался самым неожиданным для Кесоу. Мы все им объяснили, но *Стамбул* не понял, сказали они.

Стамбул не понял, что ему хотели предложить!

— Я же вам объяснил, что средство — для американцев, а не для турок! — воскликнул Кесоу. — Турок и без оленьих рогов способен кашлянуть на пороге семи спален. Это у американца может возникнуть проблема на пороге одной-единственной спальни, если жена не взбодрит его словами: *«Ты должен и ты можешь это, Майкл! Прими только пантокрин фирмы «Word & Deed!»*.

Но недолго продолжался торг: народ позвали в Народный фронт Абхазии. Все, кто ощущал себя народом, понуро побрели туда, а простые любители кофе ретировались в другие кофейни, так что «пяточок» в две минуты опустел, и кофеварщик Акоп, прикрыв створку своей будки, стал поджаривать кофе на барабане. Кесоу отправился с остальными. Ему хотелось раз и навсегда узнать политический расклад.

А Вишнупату как раз там и должен был встретиться с другом.

Перед особняком, где располагался абхазский Народный фронт, уже собралось немало людей. Вишнупату устроился на слоновой пальме перед особняком, с вялым любопытством наблюдая за кипением страстей. Кесоу тоже смотрел с вялым любопытством. Толпа гудела и требовала Григория Лагустановича. Чувствовалось, что это был вельможа, которому доверяли. Имярекба по общему поручению вступил с ним в телефонные переговоры. Лагустанович пригласил народ к себе. Тут же выделились слуги народа, готовые пойти к правительству. Это были представители интеллигенции, всегда и во все времена осуществляющие живую связь между народом и властями. Желавших пойти к властям и рассказать им о проблемах народа оказалось много, и Имярекба разделил интеллигенцию надвое: одну часть отправил к властям, оставшуюся подрядил сочинять резолюцию.

Письмо было готово и зачитано довольно скоро. Кремлю только надо было протянуть свою длинную руку, столь нелюбимую неформалами, и взять его. Имярекба сделал в ней лишь несколько стилистических правок,

таких, как «*четырёхступенчатая иерархия народов*», «*под знаменами антинародной и бесчеловечной политики меньшевиков*», «*поднаторевшие на антисоветизме*» и, наконец, «*соблазненные лживыми идеалами*». Тем временем вернулась делегация от Григория Лагустановича.

Собравшиеся сгруппировались под слоновой пальмой у входа в особняк, чтобы услышать их. Депутация, однако, отказалась выступать на улице. Не митинговать же нам на солнцепеке, словно мы — неформалы, сказали они. Вообще, как заметил Вишнупату, абхазские революционеры себя *неформалами не считали*. Они не признавали и идею эртобы, хотя название их организации означало на абхазском то же самое: единение. Предложено было подняться на второй этаж, в актовый зал. Кесоу пошел со всеми.

Там, в зале была привычная, ставшая родной обстановка: партер на сто мест для народа, на возвышении — стол президиума и трибуна с гербом, а на заднике — хитро улыбающийся с портрета Ленин.

Устроившись за столом президиума, гонцы долго спорили, кому выступить за всех, поручали друг другу эту почетную обязанность и, наконец, принесли взаимную вежливость в жертву нетерпеливости народа, остановили свой выбор на почтенном писателе. Писатель в подробностях рассказал, как замечательно приняты были слуги народа народной властью, причем оговорился и сказал «*слуги от народа*»; все отметил, вплоть до учтивости секретарши Григория Лагустановича; поведал, как выслушаны были посланники; вкратце пересказал смысл выступления каждого из делегации, а выступили там они все. В зале было очень жарко. Люди обмахивались газетами Народного фронта, но никто не выказывал нетерпения. Наконец, касательно конкретных дел, писатель сообщил, что Григорий Лагустанович твердо обещал принять все необходимые меры, вплоть до подробного доклада в Кремль о всех творимых в Абхазской АССР безобразиях и в свою очередь предложил народу сочинить письмо в Кремль, на что толпа восторженно заголосила, что готово, что готово уже письмо!

Хорошо говорил писатель, а Кесоу сначала это не нравилось. Но ему пришлось очередной раз убедиться в своем излишнем скептицизме. Он увидел нечто, что в другое время могло быть свидетельством того, что у него *поехала крыша*. Но нынче на дворе — время мистическое, полное знамений.

Вокруг головы оратора вдруг вырос огромный нимб, подобный вееру павлиньего хвоста. Писатель заговорил еще более вдохновенно. Нимб вокруг его седой головы переливался тысячей неземных цветов. Кесоу решил, конечно, что это действие анаши. Он решил ретировался. Отправлюсь-ка я на грузинский митинг, послушаю, что там говорят, подумал он. Опять же, подумал об этом про себя. Не произнес ни слова. Но зал сегодня был объединен единым порывом. Общение происходило на телепатическом уровне. Поэтому многие повернулись к нему и стали увещевать:

— Не надо ходить на митинг! Мы должны опаса́ться провокаций! Мы должны проявлять терпение и выдержку!

«*Нет мира под инжирами!*» — подумал Кесоу, еще раз кинув взгляд на странный нимб вокруг головы писателя.

Как всегда бывало на всех абхазских собраниях, не обошлось и без *провокаций*. Как гласит народное выражение: не плавают корабль без арапа. В зале был грузин. Он сам себя обнаружил, когда все и так было ясно, — письмо написано, насчет провокаций люди предупреждены, — и Имярекба лишь формально сказал: «Есть еще вопросы?» — «Есть!» — сказал непрощенный гость.

Задавая вопрос, он пустил в ход известный прием неформалов: первый вопрос был почтительный и скромный — экологический, а второй, что каверзный, был припрятан за пазухой этого первого, откуда торчал лишь его хвост, как хвост украденного петуха в грузинской сказке.

Сначала вышел скромный экологический:

— Есть ли у вашей организации план борьбы с варварским обычаем бритья в парикмахерских, чреватый заражением нашего древнего народа СПИДом? — а затем, с зачином «и второй вопрос», появился хвост петуха:

— Предполагает ли ваша организация перспективу отделения республики?

— Провокация! Надо терпеть! — зашептал зал.

Но Имярекба легким движением успокоил горячие головы и ответил неформалу:

— У нас есть обширная экологическая программа, и в ней изложены все вопросы, которые на сегодняшний день представляются более важными, чем проблемы циркулен. А на второй вопрос я отвечу так. Наше общественное движение так и называется: Народный фронт Абхазии в помощь перестройке. А советской власти, по нашему твердому убеждению, хватит еще на нас, на вас и на наших внуков, как сказал недавно Григорий Лагустанович, который, занимая большой государственный пост, не оторвался от народных нужд.

Аплодисменты были заслуженными. Неформал — а это был не кто иной, как плут-Энгештер — был посрамлен из-за своего неверия в перспективы могучего СССР и вскоре ретировался.

Это был не первый митинг, проведенный неформалами в Сухуме, столице сепаратистов, а второй. Первый прошел в сельхозинституте. Энгештер, брат Хозяина, побывал на этом митинге. Он вернулся разочарованный. Подняли флаги, из Тифлиса подоспели голодари, даже милиция погоняла немного: неформалы планировали помитинговать в центре города, но это им не дали сделать: пришлось идти в сельхозинститут. Но люди, которые столько мучились, не то услышали, чего ждали: ораторы, эти тбилисские пижоны, говорили только о братстве. Один из них даже на абхазском сказал несколько слов о том, что если Кремль по-прежнему будет вводить братьев-апсуа в заблуждение, то Грузия поднимет меч и защитит своих братьев. Люди же ждали жареного и потому стали расходиться. Энгештер послушал-послушал, несколько поиререкался с этим любителем абхазской словесности, а потом ушел с приятелем в сванский ресторан.

— Ты держался бы от них подальше, дурень, — сказала несколько грубовато, но правильно Джозефина, когда вечером он пришел недовольный и хмельной.

— Ты в мои дела не лезь, а то я тоже в твои дела начну лезть, — пригрозил Энгештер Джозефине.

— А не за счет ли моих дел ты Фото-Точку перед ЦУМом имеешь? — тут же ответила Джозефина Энгештеру.

— А я вообще не хотел Фото-Точки!

Возмущенная Джозефина перешла на гексаметр:

*Выслушав дерзкие речи супруга, слабы чьи познания,
так говорила Эллады дитя ему белоколонной:*

«Сколь неразумен в речах ты, о муж безобразный!

*Дом твой не полон ли нынче и амфор, и чаш золоченных,
не возлежишь ли с друзьями, свободный, в театре и в бане?
Много ли благ ты имел, находясь в своей влажной Колхиде,
брата разрезав на части, откуда бежала Медея?*

*Уж не жене ли ты должен смиренно гласить благодарность,
в варварских странах рожденного неуча что приласкала,
в дом тебя смело ввела и дала возлежать с мудрецами,
коих же вскоре сменил ты на колхов и скифов*

в тавернах?!»

Так упрекала супруга Эллады пленительной дочь.

Тут Энгештер тоже не выдержал и ответил жене своей не менее решительным шаири:

*Как, шагнув через порог, я увлажнил порог слезами,
Ты поведай в песне строгой, сладкозвучный мой чонгури.
Эй, несите меня ноги, находя дорогу сами,
В княжий дом, где ждут и знают о печальном балагуре.
Княжья дочь с глазами лани мне подаст вина в тиае.
У прохладного марани я оттаю от печали.
А как встану утром ранним, снова путь мой к зорьке алой.
Ты — чонгури мой трехструнный. Я — бездомный Коч-Кочана.*

Разговор пошел вот с таким оттенком. Хозяину, конечно, это не понравилось, и он, чтобы не слушать, оделся и вышел за сигаретами. Когда он вернулся, брат и невестка продолжали выяснять отношения. «А квартиру кто сделал? А брата твоего кто прописал?» Мазакуаль как резанет это слово! Она так не любила упреков, что подумала: я сама устрою его на турбазу Джушкунияни!

Хозяин повернулся и пошел снова в город, не заходя на квартиру.

«Я убью его», — слышал он, удаляясь, голос брата.

«Это ты его убьешь! Да Мато таких, как ты...»

Во дела!..

«Тебя я убью!»

Могель не стал дальше слушать. Он ушел. За Энгештера он был спокоен; тот и курицы бы не убил.

Вот, бранятся, думал он с горечью. А я-то считал, что брат состоятельный и благополучный: хочешь красивую жену — на! Хочешь трехкомнатную секцию в центре Сухума — на! Хочешь перед ЦУМом Фото-Точку с медвежонком — на! Как недешево дается все это внешнее благополучие, думал Могель. Ему было неприятно, что он заглянул за ширму взаимоотношений брата с женой, хоть было и любопытно немножко. Ему было неприятно, что все эти разговоры слышала Наала.

Это было вскоре после возвращения из Пицунды. А теперь он был так счастлив; ему бы только уладить с родными Наалы. Добрая Джозефина обещала через своего шефа похлопотать. Она настояла, чтобы молодые пожили у них. Сегодня Наала пошла в библиотеку, повидать подруг и узнать новости из отчего дома. Оставшись один, Могель отправился без цели бродить по набережной. На душе у него было блаженное спокойствие. Ему ни до чего не было дела, кроме своего счастья. Он не знал, что в городе напрягуха, и преданная Мазакуаль в сопровождении павлина инкогнито следят за ним.

Прогуливаясь, Могель остановился у ресторана «Диоскурия», того самого, который установлен на развалинах старинной крепости. Когда-то построенный с шармом, но ныне имевший обветшалый вид, этот ресторан сейчас не действовал вовсе, и можно было выйти на его балкон, как на смотровую площадку. Могель так и сделал. Он свесился с балкона. Море было тихое и бледное. Сухум при древних греках назывался Диоскурией, а потом ушел под море. Могель узнал об этом, как-то присоединившись к экскурсионной группе. Именно тут в ясную погоду можно якобы различить на дне моря следы городских кварталов с колоннами и мраморными памятниками богам.

— Пытайтесь увидеть Диоскурию? — раздался вдруг рядом чей-то голос с таким сильным акцентом.

Это был Казимирас из Каунаса. Одет он был просто, даже длинные его волосы были стянуты самой простой бечевой.

Познакомились с прибалтийцем. Разговорились. На вопрос, местный ли

он житель, Могель ответил утвердительно: он уже был прописан на улице Джгубурия. Имея тайную мысль, что прибалтиец пригласит его к себе, — а Прибалтику увидеть он всегда мечтал, а с Наалой съездить туда: вот было бы здорово! — Могель разговорился с ним и даже предложил ему выпить бутылочку сухого вина на террасе «Амра». Но все было закрыто. А закрыто было потому, что должен был состояться митинг; власти, опасаясь эксцессов, запретили всем значным заведениям работать, а по телеку крутили американские боевики, чуть ли не «Рембо». Тут еще прибалтиец, словно угадав сверхзадачу Могеля, сразу же предложил ему непременно позвонить, если он случится в Каунасе, а так просто случиться в Каунасе Могель не мог. Адресами все же обменялись; Могель дал свой сухумский адрес и телефон (разумеется, братнин), а Казимирас — каунасский. Могеля удивило, что у прибалтийца фамилия русская — Лодкин, но он не решился поинтересоваться — почему. От Казимираса Могель узнал, что на митинге будет выступать главный лидер грузинских неформалов. Могель и Казимирас вместе отправились на митинг. Могель бы не пошел, еще в Великом Дубе он на митинги был не ходок, но ему хотелось увидеть и услышать главного неформала, специально прибывшего провести митинг. А Наала, уж точно, разговорилась с подружками и еще не вернулась из библиотеки.

О городских площадях

Когда Мазакваль нашла Хозяина в обществе иностранца, увешанного съемочной аппаратурой, она подумала было появиться перед их взглядом в сопровождении Вишнупату, чтобы иностранные туристы знали, что здесь тоже носом воду не пьют. В конце концов, для людей это обычная экзотическая птица. Но потом решила: не до эффектов. Ей следовало быть неотступно рядом с Хозяином. Вишнупату нужен был ей сейчас не для дешевых эффектов, на которые столь падка человеческая стая, а как друг и советчик. Не хотелось Мазакваль, чтобы Хозяин вляпался в политику. Ох как не доверяла она неформалам, ох как опасалась, что они втянут его в свои дела! Но пойти ему позволила, понимая, что он не должен совсем отрываться от той породы людей, к которой принадлежит по рождению, что надо и ему их сегодняшнее безумие поддерживать, только в меру.

О, современники мои, и сам я, грешный; не избежали мы участи жить в годину перемен, о чем так молил своего Бога когда-то некий восточный мудрец!

Итак, все по порядку.

Поскольку они были собака и птица, органы не стали к ним придирааться. Они спокойно пересекли святая святых — площадь Ленина и пошли на знакомый баритон Гостя, главного неформала. Удобно расположились на борту грузовика, чтобы и трибуну было видно, и Хозяин был в поле зрения.

Мазакваль, между прочим, когда по движениям в городе догадалась, что будет митинг неформалов, по наивности условилась встретиться с Его Божественной Милостью у Народного фронта Абхазии. Хорошо, что она побывала и тут. Она многое поняла. Абхазы клацали зубами, как и предупреждала Старушка. Они голосили, что не позволят поднять знамена эртобы, под которыми когда-то потопили в крови *абхазскую коммуну*. Хозяина тут она, конечно, не нашла, но уяснила себе вещь самую неприятную: ярость, свойственную людским стаям в последнее время, они уже стали направлять друг против друга, а не против непонятной и далекой руки Кремля. Мазакваль пожалела, что позволила Хозяину пойти на сборище. Если даже дело не зайдет слишком далеко, все равно Старушка будет огорчена.

«Я не позволю им осквернить площадь вождя!» — сказал Григорий Лагустанович и на бюро и позже — делегации от народа. Еще с раннего утра всем АТК было дано распоряжение выгнать свою технику. К моменту, когда митинг начал собираться, площадь была оцеплена кольцом из грузовиков. Собравшиеся, а среди них было немало горячих голов, решили опрокинуть пару грузовиков и вырваться на площадь. «У-ба-ни! У-ба-ни!»* — скандировала толпа.

Митинг сгрудился под тесным кольцом грузовиков, загородивших выход к площади Ленина. Люди стояли прямо на проезжей части улицы, а трибуной для ораторов послужила крыша сапожной мастерской. Это была немалая победа эртобы, если старый Климентий позволил попирать ногами свое рабочее место. Но иначе и быть не могло: сама профессор Имярекидзе присутствовала и сам Гость, главный неформал, вел митинг.

И вот появились на крыше сапожной будки профессор Имярекидзе, Гость и местные неформалы. Гость урезонил людей, и решено было начать работу прямо тут, на улице Кирова.

Самое замечательное, что увидел тут Кесоу, — это павлин. «Неужели неформалы это предусмотрели?» — удивился он. Павлин стоял на крыше грузовика оцепления. Как только оратор переходил на фальцет, павлин выпускал свой пышный хвост. А когда оратор спускался к доверительному шепоту, птица тут же складывала хвост, как складывают веер. Это зрелище, а в особенности то, что все остальные относились к нему как к чему-то привычному и заурядному, поразило Кесоу. Он уже не сомневался, что у него *измены* от анаши, которую дал ему утром Ника Хатт.

Несколько отстраненно от митинговавших стояли любопытные, числом не меньше самих митинговавших: не один Кесоу послушался Народного фронта Абхазии. Он пополнил толпу зевак и стал наблюдать за происходящим.

Кесоу впервые видел *несанкционированный* митинг. Толпа собралась здесь та же, что и на обычных маевках. Митинговали, в общем-то, законопослушные люди, которые решились прийти только потому, что поверили, что власть меняется и приходит новый закон. Поэтому на лицах людей под упорным и вдохновенным выражением читалась неуверенность. То и дело митинговавшие опасливо косились на зевак, несмотря на то, что сейчас был эмоциональный пик: речь держал сам Гость.

— Пусть поднимут руки те, кто за нашу эртобу! — загремел он.

Павлин тут же отреагировал пышным веером. Все подняли руки.

— Теперь пусть поднимут руки те, кто против.

Не было таковых. Павлин сложил веер.

— Один все-таки против! — провозгласил оратор.

Все удивленно стали коситься друг на друга. Пауза. Тень недоверия к соседу прошла по толпе.

— Вот он стоит за оцеплением! — сказал оратор, указуя на памятник Ленину.

Ленин действительно стоял со вздернутой рукой, словно голосовал против эртобы. Но справедливости ради надо отметить, что он стоял в такой позиции с тех пор, как его изваяли, в том числе и когда голосовали за эртобу. Так что это восклицание оратора было всего лишь ораторским приемом. Но толпа восприняла этот прием весьма эмоционально. Для того времени это было дерзостью.

— *Кришнаиты — агенты Кремля!* — провозгласил очередной оратор.

* Площадь (груз.).

Кесоу настолько обомлел, что почему-то обернулся на павлина. Павлин тоже был удивлен: он особенно пышно распустил хвост.

— ...Кремля и ЦРУ!

Прием с поднятой рукой Ленина Мазаквауль разочаровал: на всех митингах, на которых она побывала с Хозяином в Великом еще Дубе, все ораторы этот прием пользовали. Но она не знала, что Гостя упрекать не в чем: он сам и придумал этот ораторский эффект; совершали плагиат прочие мелкие сошки эртобы, которых Мазаквауль могла видеть и слышать до сих пор.

Новый же друг Хозяина отреагировал на прием таким образом. Он попросил Могеля поддержать камеру (он все снимал) и, достав из сумки блокнот, что-то занес в него на лабасском языке. Могель, по правде говоря, насторожился. Сработал инстинкт, присущий любому советскому человеку: поймать за руку шпиона империализма.

А записал журналист такое свое наблюдение: *«На Кавказе войны начинают не вожди и не полковники, а историки»*.

Следующий прием тоже был знакомый и испытанный. Впереди под трибуной началось движение. Все стали на цыпочки, вытягивая шеи. Там требовали воды, требовали кареты скорой помощи: женщина упала в обморок. Имярекидзе одернула главного неформала, чтобы он не пропустил момента. Но Гость сам был начеку.

— Этой женщине не поможет медицина. Ей не хватает воздуха! — воскликнул он. — Ей не хватает воздуха независимости и эртобы!

Камера опять переключалась в руки Могеля, а гость полез за блокнотом. Могель и вовсе насторожился. Гость заметил это. Сделав запись, он взял камеру и сказал, улыбаясь, Могелю:

— У Грузии и Прибалтики одно дело. Но Грузия имеет огромный опыт борьбы с тоталитаризмом. Есть чему поучиться нашим лидерам!

Публика сегодня могла быть вполне довольна. Главной темой был сепаратизм. Сепаратизм и рука Кремля.

— Сегодня здесь собралась лучшая часть сухумских грузин! — провозгласил оратор.

Того, кто стоял рядом с Хозяином, держа один конец транспаранта, Мазаквауль знала по турбазе Джушкуняни. Его здесь знали все. Это был Александрэ Бобонадзе. Породистый и фактурный, он волновался, как скакун на старте. Печать бледности лежала на его лице: он еще не оправился от пулевых ран, нанесенных ему сепаратистами. Всего, что он тут видел и слышал, было явно недостаточно для его темперамента. Ему не то что держать край транспаранта, ему бы поймать руку Кремля и с хрустом выломать ее. Долго так стоять он не мог.

Вручив не глядя конец транспаранта рядом стоящему, он направился к трибуне, по пути разрезая плотную толпу, как лемех культиватора разрезает почву. Через минуту он оказался между лидером и митрополитом с мегафоном в руках.

Человеком, которому Бобонадзе вручил палку не глядя, оказался Могель. Еще недавно не желавший идти на митинги неформалов, сейчас он не только стоял на самом агрессивном из всех митингов, на которых ему приходилось бывать, но и держал транспарант, гласивший, что сепаратистам нет места на земле Давида Возобновителя. А когда он, как бы движимый инстинктивным желанием донести до кого-нибудь всю нелепость и случайность ситуации, только покосился на толпу любопытных, — тут же встретился глазами с деревенским соседом Наалы, через кого он с ней и познакомился и кого к ней ревновал немного. Могель сначала смутился, но потом отвернулся решительно и зло, хотя это не помешало ему предупредить парня, что на него заводится дело в транспортной прокуратуре. Он чувствовал, что уже «мур-

мурти надэ», как поет Радж Капур в кино «Бродяга», что в переводе с индусского означает: «нет пути назад».

Между тем его друг Казимирас куда-то исчез. А речь того, от кого Могель принял эстафету, не оставила никакого сомнения в том, что *мурмур-ти надэ*.

— Друзья! Друзья! — воскликнул он. — Я вас люблю!

Внизу его тоже любили.

— Тут такие горячие головы!.. — продолжал Бобонадзе, справляясь на ходу с волнением; трудно все-таки выступать перед толпой: это нечто, отличное от выступления со сцены. — Тут такие решительные люди, такие самоотверженные и бесстрашные, что я боюсь...

Теперь он уже освоился, и пауза, которую сейчас выдерживал, именно как пауза воспринималась публикой.

— ...Я боюсь, что *прольется кровь*! — сказал он.

— *Пусть прольется! Пусть прольется!* — сначала отозвалось несколько человек с разных сторон, а потом вкрик подхватила и вся толпа.

— Я знаю, что такое кровь!

— Да! Да! — с поспешностью реагировала толпа, словно испугавшись, что Александр Бобонадзе станет демонстрировать рану.

Павлин пышно распустил свой веер хвоста, реагируя лишь на характер звука и по своей оторванности от жизни воспринимая все происходящее лишь как представление. Между тем именно сейчас впервые публично прозвучала мысль о возможности кровопускания.

— Я не хочу, чтобы пролилась тут кровь! — воскликнул Бобонадзе.

— Нет! Пусть, если надо, прольется! — любя его, возразила публика актеру.

А дальнейшее его выступление было насыщено фактами и только фактами. Речь Бобонадзе была образна. Его разоблачения сепаратизма не выходили за рамки проблем культуры, но каждая его фраза горела над толпой, как «Мене! Текел! Фарес!».

— Вот вы говорите о руке Кремля! — продолжал он. — Но не дремлет Персия! Вспомните 56-й год. Апсуа сепаратисты отпраздновали приход к власти Моссадыка. Вспомните 78-й год. Апсуа сепаратисты устроили кровавые поминки по усопшему своему имаму — аятолле Хомейни! И знаете, кто является лидером паниранской группировки в Абхазии?

Увы, люди знали!

— Фазиль Искандер! — выкрикнули из толпы.

— А вы завтра собираетесь за него голосовать?.. Не отдавайте свои голоса сепаратистам!

— Не отдадим!

Нет мира под инжирами!

Кесоу был, как всегда, спокоен и тверд, но сердцем понял сегодня: эти люди не доведут до добра. Они не доведут до добра, а сами уйдут в кусты. Надо вооружаться, подумал он, будет война. Все это Кесоу не вдохновило. Он решил, что все здесь уже понятно, и уже собирался уходить, когда взгляд его упал на белый транспарант. Транспарант этот с одного края держал тот самый мингрельский парень, которого он искал!

Кесоу встретился с ним взглядом. Парень густо покраснел, но тут же отвернулся, стараясь изобразить на лице упрямое чувство собственной правоты.

«Он не виноват, пойми его, он не виноват! Он здесь случайно!» — внушал ему кто-то беззвучно.

Это говорил с ним самый обычный пес. Вещий пес свешивался с борта того самого грузовика оцепления, на крыше которого работал павлин-нефор-

мал. Слезы смолой застывали на обеих сторонах мордочки пса. Полнейший сюр, как говорят в Москве!

«Какой-то патлатый притащил сюда Хозяина, а тут ему всучили еще этот дурацкий лоскут!» — снова галлюцинировал затуманенный анашой слух Кесоу.

Ждать было нельзя! Мазакуаль видела ведь, как нехорошо удалился тот деревенский парень. Собака понимала, что дело здесь не в том, что Хозяин — участник митинга, а еще ему всучили этот дурацкий лоскут. Тут нечто более важное...

Как она могла об этом забыть! Ведь это тот парень, который виды имел на книжницу, новую Хозяйку Мазакуаль! Как она могла это забыть! Нельзя было медлить!

Нельзя медлить ни минуты! Она соскочила с грузовика, чтобы подобраться, подобраться к Хозяину, чтобы предупредить его о надвигающейся опасности. И в эту минуту толпа зашевелилась и задвигалась.

Потому что профессор Имярекидзе и Главный неформал почувствовали, что с выступлением этого местного честолюбца ситуация принимает излишне воинственный характер, и снова взяли ситуацию в свои руки. Решительно вырвав у артиста мегафон, Главный неформал произнес:

— Друзья! Давайте все вместе последуем к собору. Постоим и помолчим у врат храма. Кто знает, может быть, в молчании родится истина!

И закончил на этом митинг.

Толпа зашевелилась, перестраиваясь с митинга на шествие. И вдруг треклятый транспарант повис на руках Могеля. Это державший его с другого конца выпустил из рук свою палку.

Могель проделал то же самое. Он решительно отошел к столбу между мостовой и тротуаром, чтобы пропустить толпу. Идти к храму он уже не собирался. Гречь наполнила всего его изнутри, и к горлу подкатил ком. Толпа шла мимо него.

«Не ты виноват, а я: не доглядела!» — почувствовал, как услышал, он. Но голос удалялся.

Мазакуаль чуть не затоптали. Она не только не попала к Хозяину, не только не успела его предупредить, но сама едва вырвалась из-под ног движущейся к храму толпы. И потеряла Хозяина.

А прибалтийский приятель Хозяина прошел к тому месту, откуда, по его мнению, могли появиться ораторы, покинувшие крышу Климентиевой будки. Но ораторы, очевидно, вышли с другой стороны. Пожать руку Главному неформалу и выразить ему свое восхищение Казимирасу Лодкину не удалось. Зато замечательного актера и оратора он нашел.

И вот уже Казимирас Лодкин и Александрэ Бобонадзе, оба высокие и статные, пожимали друг другу руки. Лишь на секунду Бобонадзе отвлекся и поднял голову к небу, почуяв там что-то враждебное, басурманско-кришнаитское. Это пролетела над ними Вишнупату, в тревоге разыскивая своего друга Мазакуаль.

Все иллюзии, что обойдется без кровополития, разбились в прах.

О вкрадчивых шагах беды

Толпа отхлынула, и вскоре на мостовой остались поверженные и растоптанные транспаранты. С горечью во рту и с комом в горле Могель продолжал обнимать холодный телеграфный столб. Он чувствовал, что действительно *мурмурти надэ*.

Наала: она же все узнает!

Мазакуаль уже не было на борту грузовика. Неужели она бросила его и пошла со всеми к собору? А ему так хотелось сейчас заглянуть в ее ясные, всепрощающие глаза. Рассеянно шагая, он направился в сторону турбазы Джушкуняни. Если собака где-то рядом, а не поддалась стихии митинга, она сама выйдет на него.

На проходной ему пришлось выдержать контактный бой с органами. Мент его знал, поскольку Могель бывал тут часто, но нынче ему было велено пускать строго по разрешению Джушкуняни.

Если бы в это время не подъехал Александрэ Бобонадзе, кстати, на служебной «Волге» с антенной, Могелю пришлось бы еще долго пререкаться с органами. Но тут же все уладилось.

— Я полностью согласен с тем, что Вы, дорогой и незнакомый мне патриот, провозглашали на своем транспаранте! — сказал актер несколько торжественно.

Могеля аж передернуло: не Бобонадзе ли всучил ему конец транспаранта, когда душа позвала его на крышу сапожной будки!

Но возмутиться он не успел. Из машины с антенной вышел знакомый прибалтиец.

— А вот вы и нашлись! Мир тесен! — воскликнул он, тряхнув гривой и подавая Могелю мужественную руку.

Видя *эти движения*, мент уступил.

— Гость немного отдохнет, а потом будет беседовать с нами, — щедро открыл тайну Бобонадзе. — Идемте!

Неофитам всегда просто делиться контактами: ревность к учителю наступает позже.

Видеть Главного неформала в узком кругу — это было соблазнительно!

А Мазакуаль и в голову не могло прийти, что Хозяин пойдет на турбазу Джушкуняни. Он же видел того деревенского сорвиголову! Как он мог не встревожиться? Где он? Почему он забыл слова Старушки: «Берегись абхазов: они хищны и клацают зубами!»

Еще до прихода на улицу Джгубурия Мазакуаль знала, что все погибло. Собаку нюх не подведет.

Она подошла к дверям с медной табличкой. Она подала условный знак, каким они с женой Энгештера пользовались, когда Мазакуаль приносила птицу. Джозефина открыла дверь, но не произнесла, как обычно, стихов. Она была заплакана. Мазакуаль никогда не навязывалась в дом к Энгештеру. Отдаст птиц Джозефине и — прочь. И Джозефина сразу шла с птицами к складу, не зовя собачку в дом. А сейчас Мазакуаль без излишних церемоний прошествовала в квартиру и — на кухню, чтобы спокойно выслушать женщину. То ли взгляд у собаки был такой, то ли еще отчего, но она умела разговорить людей.

Нюх не подвел. Наала уехала.

Не этот сельский сорвиголова ее увез, как предполагала Мазакуаль; она сама, узнав в книжнике, что умерла тетушка, собралась и уехала. И, похоже, это конец.

Потому что ей уже успели донести, что Могель — Могель, от которого Джозефина никогда не ожидала такого, — стоял на митинге с транспарантом: «Сепаратисты — вон из Грузии» или чем-то в этом роде.

А на чем она уехала в Хаттрипш? Ведь весь транспорт был пущен на ограждение площади Ленина, чтобы его не смогли осквернить неформалы!

— Ведь чертов митинг уже закончился, все соседи вернулись, просветленные, *словно бы на агора́ они слушали речи Перикла!* — Джозефина едва сдерживалась, чтобы не перейти на гекзаметр. — Куда же запропастились и тот, и другой? — сетовала она, уже обыкновенной прозой. — Может быть,

она, моя милая, стоит все еще где-то на дороге и ее еще можно вернуть или по крайней мере убедить не ехать одной. Я бы сопровождала ее, чтобы ее там не принудили остаться. Григорий Лагустанович дал бы машину, а то и поехал бы с нами: у него как раз дача в Хаттрипше.

Джозефина была в отчаянии. Она так полюбила эту деревенскую простушку!

Все ясно. Мешкать было нельзя. Мазакуаль пулей выскочила на улицу.

Гостю был отведен генеральский особняк. Он требовал номера поскромнее, но охрана на особняке настояла: тут ей проще было нести службу.

Охрана была демократическая — никаких органов, только поклонницы лидера.

У ворот особняка приятелей встретила миловидная девушка в бикини и черных колготках. Она сообщила, что пресс-конференция начнется не раньше, чем через час: после каждого мероприятия Главный неформал уединялся на несколько часов для размышлений и молитв.

— Я могу ее сфотографировать? — спросил Казимирас.

Александрэ перевел.

— Ни в коем случае! — сказала девушка и повернулась к ним спинкой в бронзовом загаре, демонстрируя подвешенный к боку кольт.

Приятели решили пойти в бар, чтобы скоротать этот час.

Сегодня турбаза была практически закрыта. Бар тоже не работал. Накрывали на стол. Столы были сдвинуты и сервированы стаканами, завернутыми в розовые бумажные салфетки. После пресс-конференции здесь должно было состояться застолье. Неформалы сгрудились у стойки, мешая женщинам. Александрэ Бобонадзе сразу попал в дружеские объятия, и вскоре его было не достать.

Ликование, которое вызвал приход Александрэ Бобонадзе, сравнимо было разве что с ликованием во время его сегодняшней речи. Приняв немедленно поданный бокал с шампанским, он провозгласил тост за эртобу и выпил.

Ребята были предупреждены, что Гость не охоч до застолий и бражничества, что у него с детства европейские привычки, но они решили, что свое гостеприимство продемонстрировать надо. Александрэ Бобонадзе, артист ведь, с порога подал идею: стол накроют на сто персон, но за него сядут только Гость, да еще почтенный Дурмишхан, а остальные будут стоять над ними и ухаживать. Такие традиционные знаки уважения должны были растрогать сына мингрельского дворянина. А потом, когда Гость и хозяин встанут, можно сесть самим за стол и погулять.

— Куда мы спешим! — заголосили все, согласные с артистом.

Прибалтийский журналист был представлен, и у стойки все подняли тост *за вашу и нашу свободу*.

— Прибалтийцы и грузины — братья! — сказали ему.

— *Чок гюзель!** — ответил Казимирас растроганно.

— Как сестричка? — спросил Могеля Годердзий. — Давно приехали из Пицунды?

— Приехали третьего дня. Собираемся в Великий Дуб.

— Поселяйтесь тут. Выделим вам люкс.

Могелю пришлось признаться, перейдя на грузинский, что возникают сложности с ее родней.

— Стало быть, они — сепаратисты, — провозгласил зам.

Могель промолчал.

* Прекрасно (тур.).

— Необходимо проводить, — как это по-русски, бичо? — четкую грань между народом и между отдельными его представителями, которые народу засоряют голову. Первые — наши братья, а о вторых четко было выражено на транспаранте, который ты, мой юный и надежный друг, вознес сегодня над шабашем сепаратизма.

Прибалтийский гость еще раз восхитился, насколько здесь, на Кавказе, самые простые люди мыслят широко, четко и политически грамотно.

Выпили.

— Я тебе покажу петуха, какого ты не видел! — предложил Годердзий и повел Могеля на кухню. — 8 кг живого веса!

Казимирас тоже вызвался сходить.

— Бутылку прихватим с собой, — не забыл друг Энгештера.

Он лежал на столе, безголовый, еще не ошипанный.

— Тит! — сказал Годердзий. — Откуда здесь эта собака.

Могель не ответил. Собака, прежде чем выйти вон, заглянула в глаза Хозяину с кротким упреком.

— Я застрелил его на рассвете, — сказал Годердзий, демонстрируя свой «Макаров». — С десяти шагов и — в голову.

— Необыкновенная окраска перьев! Я могу его сфотографировать? — спросил Лодкин.

На сей раз ему разрешили воспользоваться снималкой.

Схватившись за горло и сдерживая душившие его рыдания, Могель выскочил из бокса. словно мигом освободившись от наваждения, он тут же стал тосковать о Наале. Еще он вспомнил, что Кесоу видел его сегодня на этом митинге с нелепым транспарантом в руках, вспомнил выражение лица, которое было при этом у соперника.

Могель спешил. И он уже знал, что к Энгештеру ехать смысла нет. В Хаттрипш и только в Хаттрипш!

Ни секунды не задумываясь, перочинным ножиком, как умеет это каждый парень в Великом Дубе и не только, он открыл машину с антенной, на которой приехал Бобонадзе, ножиком же завел ее и выехал на большой скорости из турбазы Дурмишхана Джушкуняни. Органы, которые видели его час назад беседующим с хозяином машины, не заподозрили его в угоне и лишь поспешно открыли ворота.

Вылетев на трассу на полной скорости, он чуть не сбил узкого желтого велосипедиста. Старика за рулем спас опыт: он успел ретироваться в кювет.

Что могла сделать Мазакуаль? Что дворняжка могла тут сделать! Она не успела его предупредить! Она не успела...

Последний раз его, мчащегося по трассе, видели павлины, которые летели вдоль моря.

А Мазакуаль? А что Мазакуаль могла сделать? Она не успела, Старушка! Она осталась.

На рассвете кто-то, увидев кровь, принял ее за зарю!*

Прежде чем выйти на пресс-конференцию, главный неформал решил окунуться в море. Преодолевая сопротивление очаровательных охранниц, со звонким щебетом напоминавших, что его здоровье принадлежит не ему одному, он переоделся в пляжный костюм.

Когда патрон не внял их просьбам, девушкам пришлось поторопиться, чтобы самим уже успеть снять теннисные костюмы, соответствующие уединению в особняке, и надеть пляжные. А когда охранницы одна за другой высы-

* Из стихов абхазского поэта Геннадия Аламира.

пали на пляж, на ходу пристегивая кобуры, вдруг обнаружили, что потеряли подопечного. Гость такое проделывал часто, но местность здесь чужая. Не теряя присутствия духа, телохранительницы разделились на две части: одни остались на пляже, другие же кинулись искать лидера на территории.

Позади бара в огромных котлах варились мясо и куры. Девушки еще раз раздраженно напомнили сухумским друзьям, что Гость мяса не ест, тем более в пост.

Но где же он сам?

Легко скользя на скейте по выложенной отличным кафелем дорожке парка, Гость вынырнул из-за беседки с камелиями к пруду. И пресс-конференцию для этих сухумских деятелей, которые вообразили себя диссидентами и именно в Грузинскую Хельсинкскую группу и рвутся, тогда как при стагнации все были законопослушными работниками редакции «Сабчота Апхазети», разных союзов, УБОНа и мясокомбината... пресс-конференцию он проведет так, что девушки из охраны позабавятся. Он будет кружить перед ними на скейте. Сделает круг и поравняется с ними — пусть успевают задать вопрос. Он сделает следующий круг и, возвращаясь, бросит короткий и гениальный ответ. И — снова круг. И так — несколько кругов-ответов, пока не устанет. Кататься на скейте.

Эта задумка развеселила усталого революционера. Он прибавил скорость и вынырнул к пруду. В пруду плавали банальные лебеди. А банальных павлинов не было. Отлетели, видать, в другую сторону парка. Гость не любил всяких экзотических птиц: милее его сердцу были гордые орлы, летящие в небе. *«Будьте прокляты, вороны!»* — вспомнил он стих любимого им Важа Пшавела.

Вместо экзотических птиц, призванных услаждать взгляд усредненного туриста из российской глубинки, лучше бы здесь гуляли простые крестьянские кормилицы — индейки и цесарки. Но, впрочем, когда Грузия будет развиваться как свободная демократическая страна под руководством своего первого президента, — и, очевидно, последнего, потому что затем будет восстановлена монархия, а сам Гость вернется к занятиям по исторической филологии, — тогда мы поднимем курортный сервис на такой уровень, чтобы природными красотами Грузии наслаждались уже западные толстосумы...

То, что он увидел на берегу пруда, заставило Гостя притормозить. То, что увидел Гость, еще раз убедило его в правоте своего дела. Такое видение дается только избранным и, записанное в летописи, остается в потомстве.

Живописно расположившись под раскидистой магнолией, вели беседу удивительные мудрецы. Каждому из них было не менее тысячи лет. Здесь были великие даосы, йоги, суфии, хасиды, воины Кастанеды. Это был некий синклит мудрецов всех времен и народов. Инстинктивно Гость стал искать глазами представителя своего народа. Был, кажется, и представитель.

Смело выступив вперед, Гость спросил:

— О, сограждане по Вселенной! Скажите мне, мученику и ратоборцу века двадцатого: когда победит эртоба?

Но собрание небожителей не отреагировало на его слова, словно оно проходило в другом измерении, куда не доносились звуки его гордого вопрошанья.

Гость повторил вопрос. И снова ответа не получил. Он стал раздражаться, он крепко сжал в руке скейт, и неизвестно, что бы предпринял следующим шагом, если бы его не опередили преданные черные колготки. Они искали его по всей территории турбазы, все больше и больше приходя в отчаяние. И вдруг, увидев, что патрон окружен какими-то дикарями, одетыми во власяницы, очевидно, абхазами, а сам беззащитен в шортах и со

скейтом в руке, девушки не растерялись, мигом распределили роли и стали стрелять, думая лишь о том, чтобы не задеть патрона.

И разомкнулась связь между двумя измерениями.

Павлины взлетели в воздух и исчезли в вечернем небе.

Таким образом, появилось сразу несколько свидетельниц небывалого случая: Гость был допущен на Великий Синклит Мудрецов и беседовал с великими пророками.

О пресс-конференции уже не могло быть речи. Гость уединился, чтобы в молитвах и размышлениях отдышаться и прийти в себя.

О волчьем овраге

Старый Батал встал перед гробом и сказал:

— Следуй за мной, дочь моя!

И направился впереди процессии к фамильному кладбищу, которое было расположено тут же, в саду. Он шел смущенный, что пережил дочь и хоронит ее. Много раз он услышал в эти предпохоронные дни: почему ты не умер, почему ты дожил до такого? Тающий воск свечи капал Баталу на пальцы, но старческая рука не чувствовала жжения.

Бросив горсть земли на гроб дочери, старик обернулся и стал искать глазами Платона. Платон тут же подошел к нему. Старик положил ему руку на плечо и заглянул в глаза выцветшими от старости, когда-то синими глазами. Платон почувствовал, как в него стала вливаться неведомая сила. Он понял, что старик вскоре последует за дочерью.

И Батал сказал:

— Беда пришла к народу за безверие и за грехи.

Люди, услышав это, недоумевали, почему первые слова старика у гроба дочери были не о ней, несчастной. Они ведь не знали, что он вскоре последует за ней. Загадочными и странными показались людям слова старика. Безверие и грех — эти понятия для одних были старыми, поповскими, для других — старыми и книжными.

О, пот лица, ты так застилаешь глаза, что не видать надвигающейся беды!

А вечером над Хаттрипшем пролетели павлины. Целая стая диковинных птиц, которых обычно можно было увидеть только в садах городов. И даже самые старшие не припомнили, чтобы райские птицы летали косяками по небу Абхазии. Станным кругом неслись они, без вожатого впереди. Конечно, первым увидел их бригадир. Он божил, что царские птицы сели стаей на зеленой лужайке старца Батала, закрытой от глаз высокой цитрусовой изгородью. Они побыли там некоторое время и улетели в сторону моря. Это было воспринято людьми как знак. Бригадир растолковал это событие таким образом. Павлины — это символ изобилия, о чем он сам читал в газете «Аргументы и факты». Их появление недвусмысленно указывает на то, что директор Обезьяней Академии Массикот сдержит свое слово и в этом же году начнет строительство дворца культуры для деревни, как и было обещано, когда филиал создавался восемь лет назад.

А спрашивать у самого Батала было неловко, потому что именно на второй день с утра старик оделся в белое и лег в постель в зале, где выставили по его требованию большую железную кровать.

Вот вам и дворец культуры!

Наале после двух похорон недолго дали побыть дома. Уже Григорий Лагустанович через своих людей справлялся о ней. Наала уверила родите-

лей, что не собирается возвращаться к мужу, но все же женщины посовещались и решили, от греха подальше, отправить ее в соседнюю деревню к родичам.

Родичей семья Батала имела в каждом селе. И то, что при своеобразнойсылке Наалы выбор пал именно на эту соседнюю деревню, еще раз доказывало, что эта деревня была захолустьем, хотя лежала она по соседству с Хаттрипшем, хотя и по ней проходили железная дорога и автотрасса, а территория Обезьянней Академии наполовину относилась к ней. Захолустье означает не оторванность от бела света, а отсутствие главного — света, исходящего от Золотой Пяты. Жители этой замечательной деревни из поколения в поколение хранили и пестовали свою темноту с ревностью, с какой в иных местах хранят и пестуют цивилизацию. Выходцы из этой деревни, работавшие в Сухуме поэтами и кандидатами наук, воспевали эту дикость и демонстрировали гостям ее первозданную красоту; она сохранилась только в нравах, но не в пейзаже, ибо мало первозданного в бесконечных чайных рядах и возвышающихся над ними однотипных двухэтажных домах — без единого висячего балкона! Зато составы товарняков целые и невредимые проходили через эту деревню, потому что жители, занятые выполнением сокобязательств, должны были хорошенько отсыпаться ночами, чтобы еще до появления утренней звезды с песней труда встать меж чайными рядами, и ни одна комиссия, ни один корреспондент из Сухума не могли застать их врасплох. Все, что присуще было абхазам в старину, деревня бережно хранила в богатом музее при дворце культуры, который они-то заставили воздвигнуть академика Массикота, по домам оставив только трудолюбие и столь редкое нынче умение удивляться самым обычным вещам.

И хотя телефонов было мало (они были установлены только в семьях представителей председателя клана), но новости сообщались по старинке: умеют наши крестьяне, встав на холмах и перекликаясь зычными голосами, передавать информацию. Вскоре вся деревня узнала о том, что внучку Батала, которая, чтобы сбрить ей голову и выколоть ей глаза, осрамила на старости лет своего уважаемого деда, свела его в могилу, а родителей повергла в слезы и печаль, выскочив замуж без благословения за мингрельского неформала, неформала, неформала... Эту негодницу, наконец, сумели забрать у мужа, а мингрелы грозятся ночью приехать за ней на танках, и что привезли ее к родичам, живущим около оврага за волчьим логовом, то есть в самом центре деревни, около правления.

Общественное мнение, хранимое женами, верными постылым мужьям, и девицами, целомудренными от невестребованности, привела в негодование эта весть. Пусть едут на танках хоть среди бела дня, мы девицу не отдадим! Эти люди были не только храбрецы. Эти люди, в отличие от древнегреческого мудреца, знали, что знают все.

И вот в одночасье новость перелетела через все овраги, рытвины и ложбины. И теперь каждая женщина деревни, желала она, или не желала отрываться от сбора зеленого золота, а также от семейных дел, которые тоже у женщин оставались, должна была посетить эту семью у волчьего логова и выразить ей свое возмущение поступком Наалы. Глаза у женщин этой деревни служили зеркалами душ. В глазах их, узких горлышках души, отражалось содержимое: застоялая, тухлая тоска.

— Что она сделала, что она сделала! — считала своим долгом пробормотать каждая женщина, проходя мимо Наалы, но пряча при этом горлышко души.

Хозяйка благодарила соседок за то, что пришли выразить сочувствие. Тут же неизменно подчеркивалось, что семья старца Батала не заслуживала такого удара. И уходя, женщины снова повторяли «что ты сделала!», но уже обращались к Наале. А то ведь неприлично обращаться сразу, пока не позна-

комились! Затем, по-прежнему пряча глаза, прикасались к ней кончиками натруженных пальцев. Они, конечно, сочувствовали ей, но это сочувствие надо было скрывать, как этого требовали обычаи: эта странная смесь колхозного устава, навыков, полученных от общения с многочисленными почетными гостями председателя клана, а также веры в светлое будущее.

Наала сидела у окна и глядела на дикую хурму у края волчьего оврага. Каждый раз она вздрагивала и холодела от прикосновения этих пальцев. Спрятаться, уединиться ей было негде, потому что в осеннюю стужу вся семья собиралась у камина в отдельной пристройке, а двухэтажный дом стоял, пустой и стылый, в ожидании дорогих гостей. Облетевшая осенняя хурма, прозрачная и изящная, как на японских рисунках, только и утешала взгляд девушки.

Склон, изуродованный чаем, эта нежная хурма — а за ними даль, и только даль, которая сейчас не радовала девичьего взгляда. Где найти слово, которое способно было бы выразить ее тоску? Я не найду такого слова!

На склоне появился всадник. Он как-то враз очутился на косогоре, как унылый призрак. Это был отважный бригадир из села Хаттрипш. Неужели и он — сюда? Да, он был именно сюда!

Бригадир не только объяснил хозяевам, что поступок Наалы — свидетельство непокорности молодежи, но подчеркнул, что он его отчасти понимает, поскольку сердцу не прикажешь, как остроумно было написано в прекрасной газете «Аргументы и факты», и, ища поддержки у Наалы как у образованной девушки, встретился с ней взглядом, но что-то ему не понравилось, ибо он добавил:

— Но почтенный Батал был просветленным старцем!

Наала приняла решение.

Родственники к ней относились хорошо. Переживали, что она ничего не ест. Попросили бригадира уговорить ее съесть буйволиную простоквашу, которую можно резать ножом, как сулугун. Бригадир порезал ножом и съел простоквашу. И Наале тоже строго рекомендовал. Она отказалась: разве молодежь слушает старших!

Прибегала к Наале маленькая девочка, ее соседка по Хаттрипшу. Она как раз гостила по соседству. Хозяйка Наалы повелела этой девчонке: «Уговори землячку поесть!» Всякой еды было навалом, но Наала не ела ничего, как будто хозяевам было жалко. А хозяевам вовсе было не жалко.

Эта замечательная девчушка, казалось, все понимала. Хотя что может понимать семилетняя. Чувствуя детским умом, что это возбраняется, хотя ей никто не делал замечания, девчушка подкрадывалась к Наале, когда этого не видели хозяева, и, поцеловав ее, отбегала прочь. Глаза у нее были такие же большие и синие-синие, как у самой Наалы. Сегодня девочку увезли в Хаттрипш. Наала через нее передала весточку Кесоу.

К вечеру поток сочувствующих женщин резко увеличился, но и прекратился скоро, как только дымчатая мгла покрыла изящные рисунки ветвей хурмы и стало темнеть. Зимой в деревне не смотрели телевизор, потому что телевизоры стояли в нетопленных гостевых домах. И люди ложились рано.

Вскоре и домашних стало клонить ко сну.

— Ложись и ты. Что же тебе, бедняге, мучиться-то, — сказала хозяйка. И это прозвучало так, словно она сказала: «Что же тебе, бедняге, мучиться! Ты и так, несчастная, оскрамила перед людьми и старика, и родителей, и нас всех!»

— Можно я немного посижу одна? — попросила Наала.

— Конечно, конечно, — сказала хозяйка сочувственно. — Только перед сном не забудь завязать огонь.

Завязать огонь — это значит засыпать угольки на ночь золой...

Неохота рассказывать!

В Хаттрипш приехали поздно, но девчушка, чувствуя, что это важно, нашла Кесоу и передала от Наалы весть.

Не прошло и получаса, как Кесоу уже пытал ее.

— Так она и сказала?

— Да, так и сказала, что просит простить ее.

Он еще порасспрашивал умную девчонку о ситуации, в которой пребывала Наала в этом колхозе, только коротко и быстро. А потом забежал домой, сунул за пазуху наган и — к Нике. Еще развалюху пришлось чинить, еще бензин доставали в Академии — так проходило драгоценное время. Машины, и на прекрасном ходу, были у многих, но дело это было такое, что нельзя было посвящать в него чужих. Только к полуночи они прибыли в соседнее село, подъехали наконец к дому у волчьего оврага, но уже издалека, завидев, что весь дом освещен, поняли, что опоздали. Потому что Наала... Когда все легли, она завязала огонь, как велела хозяйка, потом переделалась во все чистое, надела купленные ей в Пицунде Могелем белые джинсы, чтобы не предстать после в неприличном виде; потом незаметно покинула придел и вышла к оврагу, где стояла уже облюбованная ею днем хурма, и на уже облюбованной ею днем ветви повесилась на шелковом ремне, дура.

Господи, прости ее, грешную!

Кесоу после этого ушел из села и ушел, как оказалось, навсегда. Два года он был в Москве. Возвратился в Абхазию, когда начала создаваться Национальная гвардия. Но в Хаттрипш он больше не приезжал.

14 августа 1992 года началась война. Хаттрипш находился у трассы, и вся его низинная часть была оккупирована в первый день.

А 14 декабря 1993 года Кесоу, боевик и командир, летел по вызову в Гудауту на российском вертолете. Кроме него на борту был еще один боевик, а все остальные были женщины и дети, выбиравшиеся из блокады. С Кесоу вместе летела его русская жена Наташа, которая скоро должна была родить ему сына. Борт, в котором находился шестьдесят один человек, был сбит над селом Лата. Все сгорели.

Витязь Хатт из рода Хаттов дал имя вашему селу, когда после солнечного изгнания люди вернулись в низовья.

Вы же переименовали его в краснознаменный колхоз!

Глаза даны человеку не для сбора чая, а чтобы иногда поднимать их к небу.

Не всем дано узреть Золотую Стопу Отца, а только чистому сердцем.

Но к небу воздевать глаза нужно всем.

Должно искать глазами в горнем мире над нами Золотую Пяту Отца.

А вы из-за чайных своих рядов только и видите мелькание копыт лукавого!

Никогда не заглядывала справедливость к вам. Ишак справедливости упирается у входа в вашу деревню и не идет вперед ни шагу.

Еще другие не хотят справедливости, но на людях лгут, будто следуют ей.

Вы же считаете справедливость пережитком старины и открыто смеетесь над нею.

Скоро придет враг, и некому будет принести вашим же сыновьям в окопы кусок чурека, потому что вы разбежитесь по горным деревням.

Вся ваша жизнь — обида на матушку-землю, что не справляется с требованиями ваших желудков. А если нивы тучны урожаем, то печалуетесь, что трудно убирать.

Когда люди сеют просо, вы сеете соль. И муха съедает ваш посев на корню.

Сегодня вы к своим грехам прибавили еще один.

И я, Платон, получивший знание от Батала, говорю вам, что не спасетесь, пока зубами не вырвете все корни чая.

На уютной зеленой лужайке, в тени раскидистой шелковицы сидел Платон, беседуя с Баталом.

— *Егей, жизнь!* — услышал Платон.

Это Батал пригласил живого старца присоединиться к молчаливой беседе. Но когда Платон стал следить за его мыслью, как мы следим иногда за движением лосося вверх по Кодору, по редкому мельканию на зыбкой поверхности красного гребня его хребта, он увидел, он услышал упрямо плывущее вверх по реке раздумий видение *народа и беды*.

— Да, жизнь, *вообще!* — ответил Платон. — И не ведал я, что такие испытания суждены народу, вообще!

.....
.....
— *Знание остается. Туда, где Полнота, мы ничего не забираем с собой, кроме личных и общих грехов.*

— Вообще, — сумрачно пробормотал Платон.

О базаре

Летний вечер. На райцентровском базаре в сутолоке торговли неожиданно раздался страшный вопль.

Все, кто был на рынке в этот оживленный час, — и торговцы, и покупатели, — перепугались: не начались ли уже *столкновения*, которых, естественно, опасались, считая, однако, их неизбежными.

Нет, по хорошему поводу был этот вопль! Это был крик радости, это был глас исполненной мечты!

Это вопил Паха.

— Ядри его бабушку! Эй! Уй! Нашел!

В лавочке Исаака, в самой неприметной на райцентровском базаре лавочке, где продавался всякий утиль, она и стояла в углу, моя хорошая! Немудрено, что ее не заметили: моя золотая была завалена всяким хламом. Может, так и доехала, незаметная-милая, из алчного Сухума. Она! Это она! И *каландаши* на месте, и *дырка* у заливка! Эй! Уй!

— Что ты разорался, дурак, что это ты нашел? — рассердился Исаак.

— Давай, вытаскивай вон ту лошадку, а я мигом за деньгами! — сказал Паха и выбежал из лавки.

Он шел, бедолага, и громко радовался. Весь день был сегодня такой, что — *тьфу! тьфу!* — одни удачи. Вы слышали, чтобы у нас в райцентре раньше продавали такую штуковину, которую кладешь в сумку и она, как лягушка, сохраняет холод? А он в этот день и нашел, и купил такую штуковину. Целый час по рынку слонялся, держа сто стаканов мороженого в целлофановом кульке, и это мороженое, благодаря штуковине, как было твердое, так и оставалось, несмотря на жару. А еще лошадка. Дети с ума сойдут от удовольствия! Враз, в один день он исполнит оба своих обещания сыновьям.

Он влетел в почтовое отделение, сообщая знакомой девушке номер и серию лотерейки:

— Давай, дочка, ищи «Запорожец»!

— Так она к нам и попала, — вздохнула девушка и с вялым неверием в фарту взяла первый попавшийся билет. И тут же изменилась в лице. Ибо, если так решит Отец наш небесный, то все будет складываться, как в кино. Этот первый билет и был тот, номер и серию которого назвал Паха.

— Вот и получай свой «Запорожец», а мне дай ровно 504 рубля, на них я покупаю кое-что, попроторнее машины!

— Ты что, дурень! Деньги возьми в долг, а выигрышем просто поделимся! — воскликнула честная девушка, но Паха, не слушая ее, выбежал и поспешил к Исааку.

И вот через минуту, держа за пазухой лошадку, Паха возвращался домой аршинными шагами, потому что нервов у него не хватило бы ехать на медлительном автобусе.

А столкновения как раз в этот день и начались.

Мазакуаль, моя старая свидетельница, уныло бредя по городу, вышла на одно из людских сборищ в тот момент, когда это мирное сборище должно было превратиться в воинственное.

Это были абхазы, пикетировавшие школу, чтобы воспрепятствовать приему документов в филиал. Люди запрудили улицу Чавчавадзе. Тени от деревьев не хватало на всех. Люди изнывали от жары. По обрывкам речей Мазакуаль поняла, что все ждут некоего Лагустановича, который обещал подойти в четыре часа, то есть скоро.

— В четыре приду с указом, запрещающим открытие всяких филиалов, — сказал он, — или же стану рядом со своим народом.

Собачьим нюхом Мазакуаль чувствовала, что тот, кого ждут, не станет рядом со своим народом и ни к чему хорошему это не приведет. Она пустилась наутек от того места. Но не пробежала и двухсот человеческих шагов, как наткнулась в парке Руставели еще на одно сборище, уже людей другой стаи.

И тут как раз держал речь Александрэ Бобонадзе.

Так что ясно было Мазакуаль, что и отсюда надо рвать когти.

И она едва успела. Бобонадзе имел речь, а поодаль избивали какого-то снимальщика. И две девицы, которые это увидели, — в визг:

— Там абхаза избивают! Где мужчины!

Появления мужчин Мазакуаль не стала ждать. И правильно сделала. Там произошла жестокая драка. Погиб человек. И тут же весть об этом распространилась по всей Абхазии.

Но описывать начало гражданской войны непросто, тем более когда она тебя самого по живому... Можно прослыть необъективным.

Я — и вдруг необъективный, дорогие мои читательницы!

Но все же проще обратиться к документу, которым мы располагаем. Это очерк, опубликованный по горячим следам во внеполитическом журнале «Word & Deed», издаваемом не у нас, а за границей, причем чисто творческой организацией.

«...Поводы для ссор на Кавказе в высшей степени гуманитарные. На Кавказе войны начинают не вожди, и не полковники, а историки. И сейчас резня началась из-за университета. Дело в том, что к этому времени повсюду шел процесс разделения гуманитарных организаций и фондов по национальному признаку. Первыми отделились от писательского союза Абхазии грузинские писатели, создав филиал грузинского союза. Его примеру последовали другие творческие союзы. И наконец — университет. Что тут такого, спросит европейский читатель. Дело в том, что в СССР — система централизованного финансирования, и абхазский университет, как и любое учреждение Абхазии, получал дотации на содержание из Тбилиси. Так что создание филиала Тбилисского университета означало фактически превращение абхазского из государственного в бесхозный. 15 июня собрался абхазский митинг, где было заявлено, что эта акция — последняя в звене разрушения автономии прав Абхазии, и если она приведет к кровополитию, то ответственность ложится на противоположную сторо-

ну и т. д. Власти, явившись на митинг, заверили публику, что этого не произойдет. Само решение о создании филиала университета, кстати, было подписано тбилисским чиновником в субботний день. Кроваполитие началось 16 июля, когда, наперекор местным властям, в филиал начался прием документов. Абхазы блокировали школу, арендованную под этот филиал. Увлеченный политикой актер Бобонадзе собрал митинг через квартал от места, где собралось чуть ли не все абхазское население Сухума. Все условия для столкновения были созданы: оно началось около 16 часов местного времени...»

Паха шел, ничего этого не зная. У первой же деревни его остановила толпа, вооруженная штырями и палками.

От него потребовали ответа на то, о чем думать Паха больше всего не любил: кто он по национальности. Он был мингрел, стало быть, грузин, но родился и вырос в Абхазии и среди абхазов. А тут поди разгляди глазами, затуманенными счастьем, чей стоит пикет: грузинский или абхазский! Кроме того, обостренной интуицией, которое человеку даруют ангелы в момент, когда он может получить п... лей, он просекал, что национальность — повод, чтобы придрататься, а причина — то, что давно никто не ехал, и у толпы уже чесались руки. И Паха поступил, как ему казалось и как кажется мне самому, разумно, закричав: «А какое это ваше дело и какое это имеет значение, ядри вашу бабушку!», но тут ведь важно было еще, на каком языке он это прокричал. В общем, начали его бить.

Паха решил терпеть, но лошадку отставил в сторонку от греха подальше. Долго его били, ядри их бабушку. Долго он терпел. Но тут гнедая моя и залетная была замечена, и кто-то пнул ее, ретивую, ногой. На глазах у изумленного Пахи ка-ак подскочит моя пышногровая и статная, ка-ак упадет в яму. Хорошо еще — в мягкую яму. Этого не следовало делать сим великовозрастным хулиганам. Они переоценили свои силы, было же их не более дюжины мужчин. А разъяренного Паху вы можете себе представить! Как буй-вол, — именно как буй-вол, а не кроткий наш буйвол; буйволом он был до гнева! — он налетел на мужиков, раскидал их в разные стороны, где они падали похотче, чем его лошадка!.. Но и голова у него была на плечах: понимая, что, опомнившись, они его одолеют, он сделал то, что делать не собирался — как сел на лошадку, как слопал еще по пути десяток стаканов мороженого! Но то он слопал по рассеянности и, опомнившись, перестал, а тут первым делом надо было саму лошадку спасать. Он сел на нее, сунул каландаши под загривок, и — поминай как звали!

Достигнув безопасного расстояния, он все-таки слез с лошадки и снова взял ее в руки, хотя она прекрасно выносила его тяжесть. Везла же она невесомо и мягко, как верховой волк.

О гневe народном

Тот самый бригадир, который, помните, чуть было не арестовал Могеля как курокрада, примчался к вечеру в Хаттрипш. Он был взволнован. Он клятвенно заверял, что все абхазы в Сухуме зарезаны, некому даже подобрать трупы и псы лакают человеческую кровь. Сам он унес ноги, подобно Гаруну бежав быстрее лани. И хотя в селе ему всегда не верили, сейчас маловерие было подобно малодушию. Услыхав дурную весть даже из ненадежных уст, следует ее проверить.

Как часто, путая суетливость с деловитостью, именно суетунов мы выбираем себе в бригадиры!

Подобные же Гаруны оказались в каждом абхазском и грузинском градах и весях.

В одночасье Абхазия стала подобна встревоженному улью. А тут еще выяснилось, что в тысячах людей дремал нереализованный автоинспектор.

Тут опять предпочту я, милые читательницы, вернуться к вышеупомянутому очерку.

«Как только произошла первая кровавая стычка в парке, абхазы переместились на площадь Ленина и заняли оборону. Тут они выдержали несколько вооруженных нападений. С обеих сторон применялось автоматическое оружие и взрывные устройства. Утром чрезвычайное положение было введено по всей Абхазии, но чтобы до прибытия войск МВД СССР из Тбилиси предотвратить более серьезные столкновения в столице, власти решили, и решили правильно, вывезти одну из двух враждующих групп из столицы. Легче было удалить абхазов, которых было меньше числом. Это не составило труда, как только Народный фронт, получив право от властей на своеобразный тактический обман, пообещал, что в городе Гудауте мужчины получают оружие и будут десантированы по предусмотренному плану, тогда как женщины и дети в той же Гудауте будут в безопасности.

Большого побоища в Сухуме избежать удалось, но тут начались безобразия на дорогах. Люди, вооружившись кто во что горазд, высыпали на трассу. Останавливали машины, проверяли документы, мужчин вытаскивали из машин и избивали. Уже стали появляться удалцы и герои.

Взаимный страх и подозрительность завладели умами. Сосед стал подозревать соседа, с которым прожил рядом целую жизнь, в намерении устроить в его доме погром. И, раз так, сам морально готовился к погрому же.

До погромов все-таки не дошло: я свидетельствую. И не слыхал я также о фактах изнасилования. Сказывались еще традиции добрых взаимоотношений в быту между этими двумя народами, весьма сходными по обычаям и одинаково формально ортодоксальными христианами, а по сути атеистами. Избиений же было много. А главное: был преодолен некий моральный рубеж: абхазы и грузины вступили в отношения кровников.

Отсутствие информации способствовало нарастанию зла. Хотя, с другой стороны, хорошо, что люди не смотрели телевизора и не читали газет: все стояли на уличных пикетах. А в средствах массовой информации началась самая что ни на есть вакханалия. Политики и газетчики тут же перевели на проценты соотношение жертв по национальному признаку. Список погибших перевалил за второй десяток. О жертвах, в основном, в процентах и сообщалось. Число непосредственно погибших в уличных беспорядках увеличивалось за счет несчастных, с кем мафия свела под шумок старые счеты.

Не видать было сил, действительно призывающих к миру».

О кровавом рассвете

После смерти Хозяина Мазакуаль стала падать духом. А после отлета Его Божественной Милости она стала попросту опускаться. Могла Мазакуаль, конечно же, поехать к Старушке, если та еще жива, но столь длительные расстояния домашние животные не могут преодолевать самостоятельно. Она вдруг, враз потеряла жизненную цель. Единственным живым чувством, которое оставалось в ее груди, было желание мести. Жажда мести живуча не только в сердцах людей, но и в любой Божьей твари. Вяло, но она все же продолжала искать обидчицу. И сейчас держала утку, которую припасла на обед, но могла пустить и на наживку.

Взглянув в глаза красному, пугающему восходу, с совсем не утренним

унынием в сердце Мазакваль свернула с набережной и вышла на проспект Мира в городе, где совсем уже не было мира.

«На рассвете край неба кровав, красная всходит трава. На рассвете кто-то взглянул на кровь, принимая ее за зарю» — вспомнила она слова Арсена. Мазакваль, несмотря на свою неграмотность, признала и полюбила поэта — одна из первых вслед за эстетами-павлинами. Так и не получил Арсен признания при жизни, зато после того, как он трагически погиб, попав на стол к неформалам, отовсюду стали выискиваться его закадычные друзья, а чуть ли не каждая вторая смазливая курочка между реками Гумиста и Келасур не стесняется публично заявлять, что именно она могла претендовать на место хозяйки в его сердце, думала Мазакваль, раздраженно торопя свою утку. Даже люди разных стай стараются перетянуть его, мертвого, каждый на свою сторону. А между тем Мазакваль, знавшая его в последнее время ближе всех, может засвидетельствовать, что Арсен Междуреченский был поэт до мозга костей и совершенно чужд политики.

Навстречу ей шли два человека с носилками. Судя по тому, что они были без белых халатов, это не были санитары. А главное, человек, которого они несли, был уже не человек, а труп. Они несли *свой труп*. Они несли его как-то торопливо и оглядываясь, словно опасались, что даже труп у них могут отнять. Такая вот картинка курортного городка в разгар сезона! С еще более испорченным настроением она пошла дальше.

И вдруг — кого она видит!

— Прошмондовка! Пани-курва! Регина!

Вот она где идет! Идет сама, и хозюк ее не сопровождает.

Ну что ж! Мазакваль, вперед! Утка на месте, злость на месте! Держись, обидчица.

Но мстительному пылу собаки было суждено угаснуть немедленно, как только она увидела врага с близкого расстояния. И где та холеная *кекела**, которая брюзгливо и походя укусила ее на пляже? Навстречу ей шла сломленная псина, навстречу ей шла *обиженная*. Она шла, проклиная себя и целый свет, и голодные пяточки ее глаз были полны слез.

— Что с тобой, дуреха? — спросила Мазакваль, смело выйдя ей навстречу.

Было трудно понять, узнала ее Регина или нет, но она так была рада какой-нибудь знакомой морде, что тут же подскочила к ней и стала радостно ее обнюхивать.

Шестой день не ела ничего! Ни гамбургера, ни копченой колбасы, ни педигри! Хозюк бросил ее и уехал!

Уехал, видите ли, в Гудауту!

Не имея никакого желания разговоры разговаривать с ней, Мазакваль уступила бывшей неприятельнице утку и пошла прочь. Целую утку, если эта чистоплюйка догадается ее разгрызть, а то вполне может статься, что она ни разу не пробовала сырого мяса, а все по-господски: свежесваренную или копченую птицу. Ничего, голод всему научит!

Читатели! Недаром говорят в народе: сделай доброе — и брось в воду. И воздастся тебе само. Что касается Мазакваль, горняя благодарность настигла ее на первом же повороте.

— Мистер Лоткэнз! Мистер Лоткэнз! Кэйс! — воскликнула иностранного вида барышня, присев перед дворняжкой и так смело почесав ее за ухом, что самой Мазакваль это польстило и она смягчилась. — Вы только посмотрите! Сдается мне, что это *кромфорлендер*!

Парень, которого она звала, стоял неподалеку, что-то переписывая в

* Прозвище кокетки (груз.).

блокнот со стенда неформалов. Он немедленно примчался на зов и тоже сел на корточки перед дворнягой. Концы его седых, но довольно густых волос, стянутых пестрой лентой, приятно щекотнули ее по мордочке. Патлатый тоже потрепал Мазакуаль по шее. Это были новые для Мазакуаль ощущения, никто ее ни разу в жизни ни за ухом не почесал, ни по шее не потрепал. А дальше — лучше!

— Вы правы, леди Юнон. Все характерные и типичные приметы налицо. *И это наиболее ценная и редкая разновидность — жесткошерстная!* — и погладил собаку по шерсти.

— И бронзовые пятна расположены удивительно симметрично на белом фоне. Вернейший признак, — девка тоже погладила собаку. Его и ее пальцы встретились на жесткой шерсти Мазакуаль.

Слушай, Мазакуаль, слушай!

— Но откуда в этой дыре взяться кромфорлендеру, который и на Западе-то редкость! *Они — врожденные охотники.*

Слушай, бедолага, и не дыши!

— Я могу вам это объяснить. В начале века в Мингрелии, а именно в Зугдиди, жил сын маршала Мюрата, женатый на грузинской княжне. Он был большой знаток редких собак. Породы, завезенные французом, потом вполне могли оказаться в руках простолюдинов. А попасть ей, *сучке моей...*

Эта непристойность покорежила слух девственников Мазакуаль. Но ничего, ничего, терпение!

— ... из Зугдиди сюда попасть — дело нехитрое. В этом городе чуть не половина населения из Зугдиди.

— Но, позвольте, а как она могла сохранить породу?

— Разве вы не знаете? Кромфорлендер — порода собак чрезвычайно гордых...

Совершенно верно!

— ... особенно в том, что касается вопросов секса. Скорее дочь испанского гранда выйдет замуж за простого мучачо, чем дама этой породы согласится на случку с кем-либо, помимо своей породы.

Точно так, безо всяких преувеличений! Молчи, Мазакуаль!

— Ну что, *Дуэнья?* — патлатый потрепал собаку по голове.

Дуэнья — так Дуэнья. А чем оно хуже прозвища Мазакуаль, и кто это прозвище помнит!

— ...поедешь с нами в *Атланту?*

В Атланту — так в Атланту, подумала собака, только выговорить не могла. Не знала она, что это за деревня, но: куда угодно, только подальше от этих мест!

Осень витязь Хатт из рода Хаттов проводил в горах со стадом коз. Уже становилось холодно; он разжег атасва, то есть огонь. Он сидел у атасва, глядел на небо, давая названия созвездьям.

Молния ударила дуб. «Атасвис», — сказал он, что означает: «бьющий огонь».

Осенью он был в горах со своим стадом коз. Он залег в тени, играя на свирели, — и вдруг заметил, что козы его оживлены. Он заметил, что козы оживлены, потому что попробовали незнакомого ему цветка. Желая узнать, что это за цветок, столь ожививший коз, он сам попробовал сока его лепестков. Хатт попробовал этого цветка. Козы продолжали плясать, а он лег ниц на землю.

Вот встану я — и, куда ни пойду, куда ни прочерчу себе дороги от места, где лежу в печали, а от точки, где я лежу в печали, я могу прочертить сонмище лучей-дорог — и повсюду мои лучи-дороги перерезает смерть. Смерть — это круг, внутри которого я заперт.

И от этой догадки он почувствовал себя одиноко. Познав свою запертость в круге жизни, за чертой которого смерть, он почувствовал такое одиночество, что его потянуло к людям. Он поспешил к ним.

Уже становилось холодно. Встав на косогоре, он увидел людей, собравшихся вокруг огня. «Атасваз», — сказал он, что означает «собравшиеся вокруг огня», а сегодня это слово понимается как «кольцо». Ибо нельзя вокруг огня рассестись иначе, чем кольцом, то есть кругом.

Люди, сидевшие вокруг огня-атасва, тянули руки к его теплу. Их руки, как спицы, тянулись от круга к центру, где точка огня.

Люди заметили его. Они встали и побежали ему навстречу. Обступили его кругом, ибо обступит нельзя иначе, чем кругом, и тянули к нему спицы рук.

— Учитель людей! Тот раз ты нам показал, как разводить огонь. Нам стало и теплей, и счастливей, и уверенней. Что принес и что покажешь ты нам сейчас? — спрашивали они его.

Когда-то было ему так одиноко, что в сердцах он высек огонь из кресала и принес его людям. А сейчас он видел Атасваз, он видел Круг жизненного плена, и сейчас он задыхался внутри этого круга.

Но люди ждали и надеялись. И Хатт сказал им:

— Я покажу вам Золотое Колесо!

И научил людей пользоваться колесом.

Эпилог

О запахе звука

Когда Лагустанович почувствовал, что приближается неоднократно воспетое им в поэмах *Ничто*, в которое должен человек буквально кануть, когда угаснет свет этой жизни, прекрасной и полной борьбы, он стал неторопливо прощаться с близкими и родными. С некоторыми, самыми любимыми, он попрощался несколько раз. Кое-кто, чего тут таить, считая, значит, что смерть — это нечто, имеющее отношение к именитому родственнику, но не к ним, счел, что Лагустанович их несколько утомил. Но смерть имеет обыкновение хотя бы раз в жизни являться даже к тем, кто и думать о ней не желает.

Имярекба, которому передали, что Григорий Лагустанович зовет его к смертному одру, не сразу смог выбрать время и пришел только на третий день. Но и Григорий Лагустанович в свою очередь не умер, а дождался, коли звал.

По просьбе умирающего их оставили наедине. И только тогда он заговорил: — Я должен сообщить тебе нечто важное.

Имярекба даже подумал: если речь пойдет о кубышке партийного золота, что может быть припрятана старым государственным где-нибудь у родичей в горах, то оно не помешало бы — он отдаст его в Народный фронт, не все, конечно, часть...

Но речь пошла о другом. Кубышка, если была, досталась Хасику и только Хасику.

— Тебе должно быть известно, кем я тебе прихожусь.

— Известно, — ответил молодой ученый, предполагая с некоторым раздражением, что сейчас старик заговорит о своих стараниях в его воспитании и карьере.

— Ты должен сейчас узнать, кто тебе настоящая мать.

— А разве она не умерла?

— Нет, твоя мать живет и здравствует. Твоя мать, да будет тебе известно — член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР, депутат и. т. д, и. т. п. — Имярекидзе, — перечислил Григорий Лагустанович со свойственной ему педантичностью, рискуя не успеть договорить.

Тут я должен, даже прерывая умирающего, еще раз подчеркнуть, милые читательницы, и не в сносках подчеркнуть, а непосредственно в тексте, что все имена здесь вымышлены, даются как сатирические образы и не следует искать им жизненных аналогий!

— Был я тогда заводделом обкома компартии по агитации и пропаганде и курировал всю работу, касающуюся идеологии. Время, безусловно, было сложное. Некоторые ошибки и перехлесты мы сами признали, однако боролись же. Письмо, написанное нами в ЦК ВКПб в 46-м... В 46-м — я подчеркиваю... — вдруг Лагустанович вспомнил, что времени мало, и печаль выступила на мужественном его лице. Он вернулся к теме:

— Когда у нас родился ты, — мне было проще это устроить, — я отдал тебя на воспитание своему фронтовому другу, который как раз был заводделом гагрского торгового куста.

— А почему же вы с ней не поженились?

— Это было невозможно. Вся ее жизнь отдана ее народу, а вся моя жизнь — моему.

Григорий Лагустанович замолчал, тяжело дыша. Но замолчал он не на точке как бы, а на точке с запятой, поэтому Имярекба опять подумал, что теперь старик уже напомним о своих нелегальных стараниях в его воспитании и становлении. Но опять недооценил деликатность Лагустановича.

— Ты принес счастье в семью, в которую попал. До тебя у них три года не было детей, а после тебя в течение шести лет родилось семеро. — Старик перевел дух и горестно добавил: — А несчастлив был я. Мне самому в конечном итоге пришлось взять Хасика на воспитание. Но что из него получилось! Не работает, не учится, не женится.

Старик снова умолк. Имярекба ждал, чтобы задать несколько важных для него вопросов. Но когда Лагустанович пришел в себя, он сразу заговорил сам:

— Знаешь, когда я был по-настоящему счастлив? Месяц в детстве, когда кочевал с цыганами. *Помогай им...*

Плачьте, романэ! Плачьте, семь жен Бомборы Мануш-СаSTRUО! Умирает начальник, депутат, ваш защитник-найко! Скоро начнется война! Вас пограбят и выгонят из Старого Поселка. И вместе со всеми *сухумскими*, вместе со мной, вашим современником и сопечальником, вы покинете город, громко голая и горько плача. Уплывет ваш табор на грязной барже, покидая родную бухту!

А Григорий Лагустанович опять забылся, придя же в себя, опять не дал спросить. Надо было успеть о политической ситуации.

— Как он там, твой брат, среди диких горцев! — кажется, забредил он. Но взгляд имел осмысленный. Имярекба уже ждал, когда старик напомним ему о дяде, который тоже один среди алчных европейских дипломатов, но Лагустанович об этом не сказал. Но даже на смертном одре государственный и поэт оставил за собой последнее слово:

— Трудное время досталось вам, молодежи. Но устои выдержат, фундамент крепкий. Что мне сказать тебе напоследок? *Надо волюнить...*

И Григорий Лагустанович умер на руках у раздраженного Имярекбы.

Далеко ли до хвоста земли, мама!

Ника Хатт ехал на своей сборной «Волге» из Сухума, где он сдавал барону Бомборе Кукуновичу туфли «Цебо». У въезда в Гульрипш ему повстречалась целая колонна танков. Он сначала подумал, что это русские передвигают технику, но потом смотрит: люки открыты и оттуда выглядывают самые настоящие разгильдяи и оболтусы. Было ясно, что это свои: абхазы или грузины. Но насколько Нике было известно, абхазы танков не имели. Может быть, успели обзавестись? Танки как раз сломались и остановились. Бойцы повыскакивали из машин: кто бросился чинить моторы, кто бросился

ругать технику, а большинство ка-ак налетит на алычу, стоявшую над забором знакомого Нике свана, что в несколько минут на дереве осталась разве что кора. «Кушайте, бичебо*, кушайте, — лишь добродушно приговаривал хозяин. — Тоже мне солдаты, ядри вашу мать!»

«Была бы бузина, он бы вам не позволил!» — подумал Ника. Это мингрел возмутится, если станут грабить его алычу, потому что именно из нее он гонит чачу, а сван предпочитает *арак* из бузины.

Он вышел из машины и подошел к танку. Собственно, это был не совсем танк, это был БМП, но тогда еще наши люди так не различали технику, как различают сейчас.

— Учения идут? — спросил танкиста по-грузински Ника.

— Ты — грузин? — обратился к нему парень с вопросом на вопрос.

— Нет, абхаз.

Пауза. Боец с застенчивым любопытством изучал абхаза, который и зубами не клацал, и по-грузински говорил.

— *Восстанавливаем территориальную целостность Грузии*, — успокоился и объяснил он.

Ника не понял.

— Войной пошли на нас?

— Почему *сразу* войной?! Выпьем воды из древней грузинской реки Псоу и вернемся. Святой отец тоже с нами едет, — сказал боец, поправляя на голове шлем.

В этот поход, действительно, грузинские отряды доехали до Псоу, пограничной речки между огромной Россией и маленькой Абхазией, поп освятил воду реки, бойцы из нее шеломами почерпали, и армия вернулась в Тбилиси без конфликтов, если не брать в расчет инцидента на турбазе Дурмишхана Джушкуняни, где подвыпившие бойцы расстреляли и зажарили двух лебедей и князя Рабиндраната.

Князь Рабиндранат приходился кузеном Его Божественной Милости. Во время длительных голоданий махатмы кузен был ему постоянной опорой. Махатма как закутается, бывало, в сари и прижмется к камандалу, — орел голода с высоты своего полета не замечал его тщедушной фигурки — и незаметно проходило сорок дней, а у князя продолжалось опасное отсутствие голода. И тогда приходил к нему Рабиндранат, и пением на лютне услаждал брата и ласково уговаривал его прервать голодание. Но мы отвлеклись, а тут разворачиваются плохие дела в нашем *мире отражений*.

Ника больше не стал говорить с танкистом. Он вспоминал слова Кесоу, что надо готовиться к войне. Тогда он не придавал этим словам значения. Теперь же он разглядывал танк как врага, который в скором времени пойдет на него. Он разглядывал его хладнокровно и с ненавистью и так сжимал кулаки, что ногти впивались в ладони. Обошел несколько раз кругом. И тут же успокоился.

«*Это же — трактор!*» — подумал он. — *Как можно его бояться! Я возьму его голыми руками, если понадобится!»*

И он поехал, морально готовый воевать. Придет война, и буквально на третий день Ника Хатт с двумя приятелями действительно голыми руками возьмут тяжелый танк Т-55.

А парень, с которым он перебросился парой слов на грузинском, подумал про него:

— Вот нормальный абхаз, не сепаратист. Этот не станет с нами воевать, а скажет спасибо, что мы принесли ему свободу!

Нас так учили!

То был еще 1989 год.

* Парнишки (груз.).

Наспех запахнув тогу, Legat pro praetore Легиона Белых Орлов стремительным шагом вышел к портику дворца.

Одна пола его халата зацепилась за пояс, обнажая мохнатую ногу. Претор был крепок, но упитан, как и положено патрицию, часто меняющему походное седло на пиршественный триклиний.

Казимир Остапович Лодкин, украинский журналист и представитель творческой организации «Word & Deed», тут же отметил эту деталь и решил ее запомнить, чтобы написать о ней с иронией в московской газете, которая его заблаговременно прислала в Сухум, хотя в Москве никто еще не знал о готовящемся вторжении.

Начинали происходить дела. Так что становилось интересно и журналисту, и чемпионке Эстонии по стрельбе Юноне Петерсон. Они успели стать свидетелями трехдневного боя в центре города с применением вертолетов, артиллерии и танков. Казимир Остапович сделал много набросков, а Юнона успела испытать подаренный претором СКВ* с оптикой. А на этот момент, на утро 18 августа 1992 года, *по взаимной договоренности*, абхазы уже отступили за реку Гумисту, западную границу Сухума, грузины уже не отошли за Келасур, восточную границу. Но в город еще не вошли.

Прежде, чем выйти на балкон, Легат Про Преторе предусмотрительно разгостянил своим гостям:

— Знаю: вас несколько озадачит то, что я сейчас намерен сказать моим орлятам. Но если я не скажу им этого, ситуация выйдет из-под контроля.

Журналист заметил зеркало. Зеркало было прислонено к перилам балкона как бы невзначай, но скорее всего было выставлено вчера. Журналист догадался, что сходство с легионером ему предлагается. Но он мог быть и слишком подозрительным. Все-таки, прежде, чем выйти послушать историческую речь, Лодкин иронически накиннул на плечо пучок прутьев, связанных бордовым ремнем — символ ликторов. Пучков всего было шесть, потому что именно шестерым ликторам положено сопровождать претора, но они к этому моменту куда-то разбежались.

Претор приготовился говорить. Он полагал, что его друзья остаются в покоях, потому что в зеркале наблюдал только за собой, упуская задний план. Иначе он как воспитанный человек ни за что бы не извергнул воздуха в их присутствии.

Оратор глотнул в полные легкие свежего утреннего воздуха субтропиков. Но, читатель, походная жизнь сопряжена со случайной кухней и, стало быть, с проблемами желудка, а генерал был мужчина уже немолодой (по традиции претор должен быть не моложе сорока трех лет), хотя и полный сил и здоровья; одним словом, в тот момент, когда сладостно подтянулся, он выпустил газы, причем так резко, что полы его кизилового цвета халата затрепетали, как знамя. Будучи воспитанным человеком, он тут же подумал о гостях, не услышали ли они непроизвольного звука. Но тут внизу столько танков выпускало газы, что вряд ли они что-то учуяли. Танки выпускали еще смрадный запах солярки, в котором, как он надеялся, должен был потонуть запах звука, но дело в том, что *запах звука* изучен не до конца.

Оратор выдвинул вперед именно обнаженную ногу в сандалии и выкинул вперед руку — не ту, которая была сунута за ворот халата, а другую, правую. Внизу, готовое ему внимать, его воинство скребницами чистило танки. Замерев в великолепной позе, легионер ждал, когда станет достаточно тихо. Журналист вышел послушать, а Юнона, ввиду деликатности своего нахождения здесь, осталась в отдалении.

Оратор начал речь. Она была коротка:

* Снайперская винтовка Калашникова.

— Сograждане! — воскликнул он.

Во-первых, он действительно чувствовал всю *волнительность* момента; во-вторых, с этим сбродом, который где и как он набирал, ему ли не знать, с ними надо говорить театрально, иначе они не воспримут; в-третьих, еще надо было перекричать танки. И вот, когда он вскинул руку и воскликнул «Сograждане!», снова у него случился выхлоп газов.

Орел, отвлекшись на красоты, не поймает зайца. Если бы претор Легиона Белых Орлов, как истинный эстет, залюбовался утренней панорамой города, которая открывалась ему с балкона дома Смецкого во всем великолепии,

он увидел бы,
как этим утром
прозрачен и влажен
триколор горизонта:
синий, белый, синий —
море, воздух, небо;
он увидел бы,
как на мгновение,
словно в негативном изображении,
белые крылья чаек
становятся черными,
когда они
в ленивом утреннем полете
пересекают снопы солнечных лучей;
он увидел бы,
как белесый туман,
уступая свету и теплу,
хочет уйти,
но некуда ему уходить
в беспредельной открытости,
и части его,
причудливо собираясь там и тут,
пытаются притвориться лоскутами облаков;
он увидел бы,
как над классической дугою бухты
и над зелено-белым городом
день принимает очертания
прямо на глазах, —

он бы точно прозевал зайца. Но именно о зайце наживы в неподвижном ландшафте испуганного города должна была пойти речь в этот момент, потому что война требует предельной концентрации воли и несовместима с сантиментами.

— Сograждане! Перед вами город. Он — ваш... — И претор говорил твердо.

— Опять пукнул, — сказал журналист Юноне. Оба, как выяснилось, с самого начала все слышали.

— Не люблю интеллигентного жеманства, Кази! — воскликнула Юнона с сильным прибалтийским акцентом, но на правильном русском. — Мне больше по душе слово: «пернул». *Война идет!*

Война пришла.